

ВОЗРАСТ



У. УИЛЛИС

История

Annotation



Два беспримерных в истории мореплавания одиночных рейса совершил американский моряк Уильям Уиллис. В 1954 году он отправился от гористых берегов Перу к островам Полинезии на бальсовом плоту "Семь сестричек". Через три с половиной месяца, преодолев почти семь тысяч миль, он достиг островов Самоа.

Другому человеку такого плавания, насыщенного драматическими приключениями, хватило бы на всю жизнь, но только не Уиллису. Через девять лет после

первой своей одиссеи он предпринимает еще более грандиозное плавание — от берегов Перу к Австралии — на металлическом плоту, не без юмора названном "Возраст не помеха". За двести четыре ходовых дня Уиллис покрыл одиннадцать тысяч миль в пустынных просторах величайшего океана нашей планеты.

Рассказ об этом необычайном плавании, об удивительном мужестве и несгибаемой воле мореплавателя читатель найдет в предлагаемой книге. Книга представит интерес для самого широкого круга читателей.

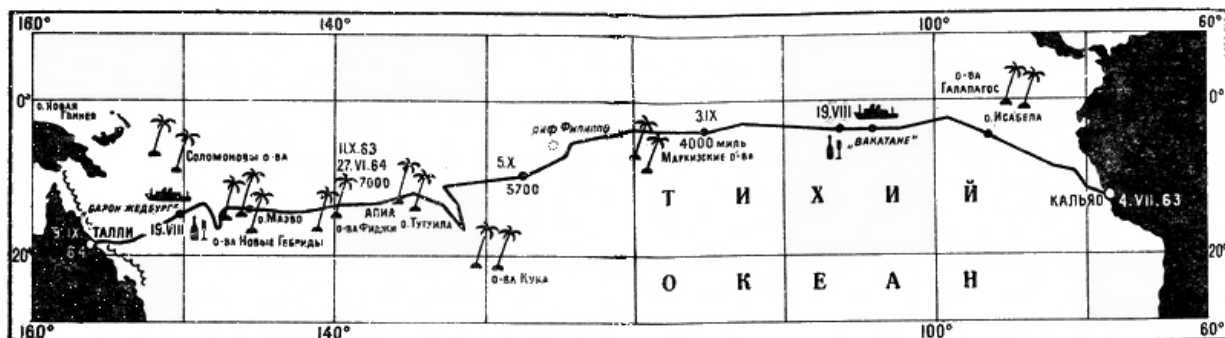
- [Уильям Уиллис](#)

- - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [ПАТРИАРХ ОКЕАНА](#)

- [notes](#)

-
-

Уильям Уиллис
Возраст не помеха



Когда мне было четыре года, я как-то раз ослушался матери — она строго-настрого запрещала мне уходить далеко от дома — и дошел до порта.

Там я впервые увидел на серой глади Эльбы суда. С тех пор ноги неизменно несли меня в эту сторону помимо моей воли. Жили мы тогда далеко от порта, и самой старой части Гамбурга, в мрачной, затхлой квартирке. Чтобы свести концы с концами, отец и мать работали с утра до позднего вечера. Меня, естественно, оставляли на улице.

Каждое утро мать умывала меня, кормила, клала мне в карман ключ от входной двери и, целуя на прощание, наказывала, чтобы я играл с детьми возле дома. Иначе, говорила она, я попаду под копыта ломовых лошадей, утону в канале — одним словом, меня постигнет несчастье. Стоило матери перешагнуть через порог, как я забывал все ее наставления и немедленно пускался в путь, всегда в одну и ту же сторону — к порту.

Шел я кривыми переулками вековой давности, мощенными булыжником. По обеим сторонам жались, словно поддерживая друг друга, дома с высокими фронтонами и крошечными дверями и оконцами. Каждый этаж немного выдавался над предыдущим, так что наверху, высоко над землей, дома почти смыкались,

напоминая старух в чепцах и поношенных платьях, которые, склонившись друг к другу, шепчутся о минувших временах. В каждом доме был погреб [1], и там ютились люди. Некоторые из них держали лавчонки, где торговали овощами, углем, дровами... В штормовую погоду морской прилив нередко заставлял Эльбу выходить из берегов, она затопляла погреба, и их обитателям приходилось спасаться бегством.

За лабиринтом переулков начинались широкие улицы. По ним везли грузы к порту и каналам и обратно. Лондон, Антверпен, Гамбург и Гонконг были в то время главными портами Европы и Азии. Вдоль каналов стояли такие же дома с высокими фронтонами, в них находились склады. На всех этажах сновали грузчики, при помощи ручных лебедок они подымали наверх из лихтеров [*] и барж мешки и тюки. Складские помещения тянулись и по обеим сторонам каждой улицы. У их дверей обычно стояли огромные фургоны. В ожидании, пока их разгрузят или нагрузят, могучие ломовые лошади били коваными копытами или спокойно жевали овес в подвязанных к мордам торбах. А мимо нескончаемым потоком шли фургоны, их тянули гигантские, как мне тогда казалось, кони с пышными гривами и хвостами и пучками волос над копытами. Возчики перекликались со своих высоких сидений или весело щелкали кнутами. Они грозно цыкали на меня, когда я перебежал дорогу под самыми копытами лошадей. Как восхищался я этими лошадьми в упряжи с медными кнопками, их железными мускулами, их могучими ногами, напрягавшимися в отчаянной попытке найти опору на мокрой или обледенелой мостовой и сдвинуть фургон с места!

Но вот я пересекал последнюю улицу и выходил на каменную набережную порта на берегу Эльбы. Передо мной открывалась река, на целые мили покрытая судами. Их трубы извергали клубы черного дыма и

белого пара. Плавно подымались они к серому небу под нескончаемые гудки буксиров с цепочкой барж, оставлявших за собой полосу пены, и под равномерный громкий гул больших пароходов, которые снимались с якоря или входили в порт. Вдали виднелись высокие мачты и реи совсем иных кораблей, сгрудившихся на отведенном им месте. Потом я узнал, что это парусники. Больше всего времени я проводил возле них. Может быть, меня привлекало то, что они, высокие и таинственные, стояли в стороне от своих собратьев, там, где дым не загрязнял небо.

Расхаживая по набережной, я вдыхал все запахи Земли, и они пробуждали во мне удивление, тоску, а часто и голод. Суда доставляли в порт апельсины из Испании и Италии, бананы и ананасы с острова Мадейра и из Вест-Индии — эти фрукты были моим родителям не по карману; кофе из Бразилии — его сгружали на фабрики, находившиеся тут же на берегу, там его поджаривали, от чего окрестности наполнялись ароматом, и расфасовывали.

Другие суда привозили сушеную рыбу из Скандинавии и Канады, кожу из Аргентины, короткие толстые бревна тикового, железного и красного дерева. Больше всего мне нравились сосновые бревна и доски из Финляндии и России, пахнувшие северным лесом. На них нередко еще оставалась толстая кора. Я отламывал кусочек и уносил с собой, и тогда мне казалось, что я в сосновом бору, о котором рассказывала мать. Ее отец был лесничим в каком-то неведомом лесу в Богемии, где водились олени, медведи и волки. В холодные зимы волки нападали на проезжавших крестьян и даже забегали в занесенные снегом деревни.

Я видел людей, от чьих мускулов зависела вся жизнь порта, грубоватых сильных мужчин с обветренными лицами и могучей грудью. Разговаривали они громко, почти кричали. Подолгу смотрел я, как они работают,

обливаясь потом от напряжения и сгибаясь под тяжестью груза, заглядывал в открытые двери пивных — подобревшие, они стояли со стаканом в руке в полутемной от дыма комнате, заполненной гулом голосов. Эти люди мне нравились, казались добрыми, дружелюбными. Мне нравились даже их движения и голоса, а больше всего их сила и ловкость. Иногда они бросали добродушное или резкое слово мальчишке, который путался под ногами или смотрел на них, замороженный, словно стараясь что-то разглядеть. Я слышал, как они ругаются, но не понимал значения слов. Они казались мне неотъемлемой частью их жизни, наполненной тяжким трудом. А вообще-то их язык был мне понятен — я научился ему у мальчишек на улице. На нижнегерманском диалекте говорили не только в порту и на судах, но и на всем побережье Северного моря. По сути дела, это современный голландский, очень близкий к скандинавским языкам, особенно к датскому и норвежскому. Для моих родителей эта речь была чужой. Отец, тот хоть немного понимал ее, но мать не знала ни слова. Чистокровная чешка, она родилась в Центральной Богемии и только в пятнадцать лет выучилась немецкому. Если я по рассеянности произносил несколько слов на нижнегерманском диалекте, она смотрела на меня так, словно я внезапно заговорил по-китайски.

Ни мать, ни отец — он родился в Саксонии, в Ганновере, — никогда не видели моря, хотя от Гамбурга было всего лишь шестьдесят миль до Куксхафена, около которого Эльба впадает в Северное море.

В порту, где слышалась речь всех стран мира, я провел все свое раннее детство. Целыми днями бродил я там, летом — под палящими лучами солнца, зимой — по снегу и льду, чаще всего в промокших башмаках, не чувствуя от холода рук и ног. Только вечером я вспоминал, что надо идти домой. Голода, вернее,

мучительного голода я не испытывал: у нас в семье не привыкли есть много и умели не хныча переносить трудности. Не припомню, чтобы я тогда хоть раз присел отдохнуть от непрерывной ходьбы.

Я становился старше, сильнее, воображение уводило меня все дальше. Однажды я уселся в лодку грузчиков и отвязал ее от причала. Нечаянно я уронил одно весло в воду, и лодку понесло течением. На берегу заметили, в каком беспомощном положении я очутился, известили полицию, и за мной пошел полицейский катер. В полиции я не смог сказать, на какой улице живу, и меня не отпустили домой. Вечером прибежала моя мать. "У меня сын пропал", — плакала она, уверенная, что я утонул или попал в другую беду. "Он здесь, — буркнул бородатый сержант, — чуть было не уплыл в Америку. Привязывали бы вы его, что ли..."

Может быть, моя мать понимала, что свою непоседливость я унаследовал от нее. Она пешком пришла из богемской деревни в Вену, а оттуда в Гамбург, там-то она и встретила моего отца. Помню, как я сидел у нее на коленях и слушал рассказы о ее детстве, об императорской Вене, о красивых вещах, которые она видела. В такие минуты на ее лице отражалась тоска по дальним странам. Мы великолепно понимали друг друга, составляя чудесную пару — оракул и провидец со своим последователем. Мать моя была стройная женщина небольшого роста, на вид мягкая и даже покорная судьбе, но в важных вопросах она проявляла несокрушимую волю, а когда раздражалась, то и вспыльчивость. Она обладала необычайной энергией и настойчивостью, была очень вынослива, двигалась быстро и грациозно.

Недалеко от нашего дома находился Музей изобразительных искусств. Однажды в воскресенье мать сводила меня туда. Я увлекался рисованием, и она решила показать мне картины. У самого входа стояли

античные скульптуры. Красивые фигуры из мрамора так понравились мне, что мать с трудом оторвала меня от них. Долго не мог я забыть прекрасные скульптуры, под этим впечатлением у меня впоследствии появилось желание иметь такое же тело. Я часто забегал в музей и уходил оттуда переполненный радостью.

Когда мне исполнилось шесть лет, меня отдали в школу. Перед этим мы переехали на другой конец города, за много миль от порта, и моим странствиям пришел конец. Шесть дней в неделю я ходил в школу, занятия длились долго, уроков задавали много и спрашивали строго. Учителя — все молодые мужчины — нередко прибегали к розге. Несколько раз и я ее попробовал, хотя пострадал не сильно. Отец иногда порол меня, и я научился смягчать боль от ударов, выпрямляясь в ту самую долю секунды, когда розга опускалась на мою спину. Отец однажды пожаловался матери, что единственный способ причинить мне сильную боль — это привязать меня. В школе же пороли безжалостно, и на спинах тех, кто не умел изловчиться, на многие недели оставались глубокие рубцы.

В первый год учебы я пристрастился к рисованию и регулярно ходил в музей естественной истории срисовывать животных. Иногда я копировал картины в Музее изобразительных искусств. Рисовал я только карандашом, краски мне не нравились. Впоследствии меня привлекло тело и лицо человека, особенно с героическими чертами или с проявлениями карикатурности.

В школе я на первых порах из-за близорукости носил очки. У меня была врожденная болезнь глаз, которую лечили чуть ли не с самого моего рождения. Мать однажды склонилась над моей колыбелью и улыбнулась мне прямо в лицо, но не увидела никакой реакции. Она испугалась и сделала еще несколько попыток заставить меня улыбнуться, но все было напрасно. Она схватила

меня на руки и выбежала из дома, крича, что ее ребенок ослеп. В больнице выяснилось, что лекарство, которым меня лечили, было вредно для зрения. Лечение переменили, но нанесенный ущерб оказался непоправимым, и глаза так и остались моим слабым местом.

Около года я покорно носил очки, но они мешали мне драться и играть с товарищами. В конце концов я стал надевать их только на уроках, скрывая это от матери. Ей казалось, что очки придают мне достойный и умный вид — она всегда мечтала, чтобы я стал ученым.

В девять лет я внезапно проявил способности, поразившие моих учителей. Мне дали стипендию в частной еврейской школе повышенного типа. Она находилась на самой окраине города, недалеко от излюбленного мною порта. Добираться до нее надо было несколькими трамваями, с пересадками, а часть дороги можно было проделать на пароходике, перевозившем пассажиров через Альстер — большое искусственное озеро в центре Гамбурга, окруженное виллами, особняками и садами.

Семья наша по-прежнему жила скудно, и мне приходилось, сойдя с трамвая или пароходика, проделывать остальной путь пешком — на это уходило около часа. Обрато я всю дорогу шел — целых два часа шагал я по городу со связкой книг под мышкой. Раньше мне вообще не давали ни гроша на расходы, теперь же перед уходом в школу я, кроме хлеба с маслом, получал еще мелочь на проезд. Случалось, что денег в доме не было, тогда я вставал раньше и шел пешком.

Моя жизнь складывалась теперь из занятий и продолжительных хождений в школу и обратно. Больше ни на что времени не оставалось. Требования учителя предъявляли высокие, я же был честолюбив, да и хотел учиться. Занимались мы, как и в первой ступени, шесть дней в неделю, уроки кончались еще позднее, и на дом

задавали больше. Преподавали нам серьезные учителя, пожилые люди в очках, с длинными седыми бородами.

Мне нравилось ходить пешком. Утром я торопился по запруженным людьми улицам, бежал, если опаздывал, а днем шел по берегу Альстера, любуясь зелеными лужайками и деревьями. Я почти не отрывал глаз от широкого озера, летом сверкающего синевой под лучами солнца, а зимой покрытого льдом с нанесенными ветром тут и там снежными холмиками, которые придавали ему сходство с кладбищем. В непогоду, когда по мрачному небу низко мчались тучи, а пена и брызги скрывали из виду противоположный берег, я шел совершенно один. Раз в неделю я возвращался домой позднее обычного, после урока рисования. Занятия с подающими надежды учениками со всего города вел учитель Шварц — красивый человек с румяным лицом и белоснежной бородой. Мне он уделял особое внимание. В школе мы занимались английским и французским языками, не говоря уже о немецком и других дисциплинах, входивших в программу школ повышенного типа. Больше всего мне нравилась история, по этому предмету я неизменно шел впереди всех в классе.

Первой книгой, которую я одолел ценой мучительных усилий, со слезами на глазах, то и дело прибегая к помощи матери, был "Робинзон Крузо". За ним последовали "Зверобой" и "Последний из могикан" Фенимора Купера. Со временем я увлекся приключенческой литературой, особенно морской тематикой. Одним из моих любимых писателей стал капитан Марриет. "Три мушкетера" я проглотил залпом, та же участь постигла книги о путешествиях и открытиях. Книги я брал в публичной библиотеке, мимо которой проходил каждый день, или приобретал в букинистическом киоске неподалеку от школы в обмен на уже прочитанные дешевые романы. Шагая по берегу Альстера, где не было движения и прохожих, я на ходу

зачитывался рассказами о Баффало Билле, Джеке из Техаса и других героях, сражавшихся против индейцев и обладавших удивительной способностью выходить живыми из приключений, от которых кровь стыла в жилах.

Чем старше я становился, тем больше занимался своим физическим развитием. Мне хотелось не только быть сильным, подвижным, гибким, но и уметь переносить голод, жару, боль, любые трудности. Я восхищался смелостью и мужеством древних спартанцев и североамериканских индейцев, которые в юности стойко переносили суровые и мучительные испытания.

В четырнадцать лет я познакомился с соседом, рабочим парнем старше меня на три года. Он увлекался борьбой и тяжелой атлетикой. Борьба всегда мне нравилась, и я с радостью принял его предложение позаниматься со мной. Тренировались мы в комнате, на полу, а по воскресным дням в хорошую погоду уходили в лес и выбирали там подходящую полянку. Домой мы возвращались только вечером, с ссадинами на руках и ногах, а иногда и с подбитым глазом. Как-то раз я принял участие в соревнованиях и выиграл сборник статей о здоровье. В одной статье говорилось о том, как важно глубоко дышать. Я поверил, что это и в самом деле имеет решающее значение, и начал упражняться, когда шел в школу и обратно. В конце концов глубокое дыхание стало для меня привычкой.

На нашу семью неотвратимо надвигалась катастрофа. До выпускных экзаменов оставалось всего лишь полгода, но дела складывались настолько плохо, что я был готов бросить школу и начать работать. Мать об этом и слышать не хотела. "Без экзаменов у тебя нет будущего, — говорила она, — закончишь школу, получишь диплом и тогда делай что хочешь". Уже было решено, что я буду учиться рисовать и стану карикатуристом. В классе я все время шел третьим,

свободно читал по-английски и по-французски стихи и прозу и без труда прочел в оригинале "Карл XII Шведский" Вольтера.

Я остался в школе, как хотела мать, сдал экзамены и поступил в художественное училище. Преподаватель рисования Шварц не сомневался, что мои карикатуры быстро получат признание, и предсказывал мне большое будущее. Используя свои связи среди художников Гамбурга, он добился для меня стипендии. Я был самым молодым студентом училища, все мои товарищи приближались к двадцати годам.

В это время несчастье, назревавшее годами, произошло: мои родители разошлись, и наша семья осталась без средств к существованию. Видно, моей мечте стать художником не суждено было сбыться. Не мог же я продолжать жить на иждивении матери, у которой было еще двое сыновей — двух и трех лет! Надо было бросать училище. Несколько раз я посылал свои рисунки в толстые юмористические журналы типа "Симплициссимус", но они неизменно возвращались обратно. Мать, никогда не терявшая мужества, уверяла, что мы что-нибудь придумаем и я смогу учиться, но мною овладело отчаяние. Столько лет я мечтал об одном — стать художником, и вот теперь все рушилось! Судьба матери и братьев была важнее моего будущего. Если бы только я мог сразу начать зарабатывать! Ведь даже найди я место ученика, первое жалованье я принес бы домой через много лет.

Однажды незаметно для себя я очутился в старинной части города, где мы когда-то жили. Медленно брел я по улицам, словно ожидая, что они вернут мне безмятежное настроение моих детских лет. С виду все осталось прежним, но казалось мне каким-то холодным, обветшалым, прозаичным, лишенным надежды, как я сам. Я шел по набережной, глаза мои скользили по судам и баржам, уши вбирали грохот

проезжавшего мимо транспорта, но я сознавал одно: семья наша распалась, мечтам моим не суждено сбыться. Где же выход?

Я миновал дом, фасад которого украшала вывеска: "Инспектор по найму и увольнению моряков торгового флота". Она указывала на подвал, куда вели заплеванные узкие ступеньки с выбоинами, покрытые мусором. Об инспекторах я читал в книгах. Может, именно в таких местах они вербуют матросов? И тут меня осенила мысль: сойти в подвал и попроситься юнгой на корабль.

С бьющимся от страха сердцем я неуверенно спустился вниз и взялся уже за тяжелую ручку двери, но тут решимость покинула меня. Наконец я медленно приоткрыл дверь и снова замер.

— Ну, что там такое? Давай заходи! — раздался резкий голос.

Я вошел в комнату с низким потолком. На видном месте сидел седой человек с худощавым лицом. Он мне сразу не понравился.

— Не возьмете ли вы меня юнгой на корабль? — спросил я тихо.

Он внимательно оглядел меня.

— Для тебя нет ничего подходящего. Юнг я беру из сиротских приютов. Они ходят на лихтерах по Эльбе и каналам. Судами я не занимаюсь.

И он повернулся ко мне спиной.

На улице, залитой солнцем, меня охватило радостное ощущение — будто я только что избежал страшной опасности. Плавать по каналам и рекам на лихтере, вдыхать дым буксира, который его тащит, приставать к складам и мрачным фабрикам... Мне вспомнились книги и стихи, картины и мольберты в художественном училище, преподаватели, студенты, молодые мужчины и женщины, которые уже зарабатывали на жизнь. Наняться ради заработка на

лихтер — это слишком. Иногда я видел на проходивших мимо лихтерах жен капитанов, порой даже с детишками, развешенное белье. Может, меня заставят стирать или нянчить детей, следить, чтобы они не упали в воду? Лучше уж стать посыльным в магазине и развозить покупки по домам на трехколесном велосипеде с огромным ящиком сбоку. Правда, для этого нужны сильные ноги, чтобы в дождь, снег, гололед гнать машину по оживленным улицам. Я знал одного посыльного. Парнишке было семнадцать лет, но ростом и силой он не уступал взрослому. Отец хотел, чтобы я поступил на такую работу. Он даже сказал матери, что знает магазин, где меня возьмут по его рекомендации.

Я прошел мимо кафе с выставленными на тротуар столиками. За одним сидел перед кружкой пива молодой матрос в кепке и куртке горохового цвета. Рядом на полу стоял его вещевой мешок. Густой загар покрывал лицо матроса — он, видно, только что сошел с корабля. Я остановился и стал рассматривать парня, словно это имело для меня важное значение. У матроса был вид счастливого человека — глядя на оживленную набережную, он радостно улыбался. Мне казалось, что мы давным-давно знакомы. Меня тянуло подойти, поговорить с ним о судне, на котором он плывал, о море. Я не сомневался, что он прибыл на одном из тех огромных парусников, что бороздят все моря и бросают якоря в далеких чужеземных портах. Но я так и не решился обратиться к незнакомому человеку. Мне было только пятнадцать лет, я был застенчив и наивен, не привык действовать самостоятельно и только в художественном училище начал понемногу проявлять себя. С тяжелым сердцем побрел я дальше.

В тот же вечер, когда мои братья улеглись, я сообщил матери, что решил отправиться в море и ничто не остановит меня. Я рассказал ей об инспекторе из подвала, обо всем, что передумал за день. Иного выхода

нет, говорил я, если только она не хочет, чтобы я стал посыльным. Работать я буду на совесть, скоро меня сделают матросом на паруснике — о другом судне я, конечно, и слышать не хотел. Я стану хорошо зарабатывать. Отец одного моего товарища по школе был матросом, он хорошо одевался и смог отдать сына в дорогую школу. Только после долгих уговоров мать согласилась отпустить меня и даже обещала похлопотать, чтобы меня взяли на большой парусник.

Через неделю она сообщила радостную весть: ей обещали для меня место на судне фирмы "Шмидт и компания", если только я пройду медицинский осмотр.

— Ну, это пустяки, — сказал я. — Я ведь никогда не болел.

— Главное, чтобы зрение было хорошее, — заметила мать, вручая мне два бланка: один — для окулиста, второй — для терапевта.

Как я уже говорил, глаза всегда были моим слабым местом, а годы, проведенные над книгами, зубрежка перед выпускными экзаменами, рисование в художественном училище, иногда при плохом освещении, вконец испортили мне зрение.

В день осмотра я несколько раз прошелся мимо дома окулиста, прежде чем набрался смелости подняться по лестнице и позвонить. Если меня забракуют, придется идти в посыльные, иного выхода нет.

Дверь открыла медицинская сестра. Она попросила меня обождать в приемной — там уже сидел один человек — и ушла. Я сел, но тут же вскочил и в волнении начал шагать взад и вперед. В открытую дверь была видна другая комната — судя по разложенным инструментам, кабинет врача. Я заглянул в него. На стене напротив двери висела таблица с рядами букв. Чем ниже находился ряд, тем они были мельче. От двери я различал буквы только первого ряда. Тут меня пронзила мысль, что по этой таблице проверяют зрение.

Значит, я не смогу ее прочесть! От ужаса мое сердце почти перестало биться. Я вошел в кабинет и, замирая от страха, что в любой момент может появиться сестра или врач, выучил буквы наизусть. Натренированная за годы учения память усвоила их без труда. Затем я отошел к двери и, проверяя себя, несколько раз повторил порядок букв.

— Как вы волнуетесь! — сказал человек, ожидавший в приемной.

Я молча взглянул на него — скажи я хоть слово, я бы тут же запутался в буквах. Но вот сестра пригласила его в кабинет. Вскоре он вышел, настал мой черед. Мне казалось, что стук моего сердца отдается даже в глазах.

— Страдали глазными болезнями? — спросил врач.

— Нет, — ответил я.

— Глаза у вас слегка воспалены.

— Я много занимаюсь и рисую.

— Хорошо, перейдем к таблицам.

Я прочел буквы без запинки, но без излишней спешки, и окулист выдал мне нужную справку.

Оказавшись на улице, я вне себя от радости сделал какой-то невероятный пируэт и бросился к жившему поблизости врачу за справкой об общем состоянии здоровья.

— Никогда не хворал, доктор! — сообщил я развеселым тоном. — Даже простудой!

— Корь была?

— Не припомню!

Доктор рассмеялся...

До сих пор не могу понять, как моя мать ухитрилась собрать одежду, необходимую для юнги. Знаю только, что она не раз ходила в ломбард. Туда перекочевали немногие оставшиеся у нас от лучших дней вещи — полотняные простыни, например. Та же участь постигла перины из мягчайшего гусяного пуха — мать собирала его еще в Богемии, — теплого и легкого, как солнечный

луч, ничуть не уступавшего гагачьему. Наконец осталось раздобыть только сундучок — он также входил в число необходимых вещей. После длительных поисков мы разыскали подходящий в лавке старьевщика в порту.

Старьевщик вытащил сундучок из груды других вещей, чтобы мы могли как следует его рассмотреть.

— Будешь сидеть на нем, — сказал он. — На паруснике небось стульев нет. Сундучок этот видал виды, недавно обогнул мыс Горн. Крепыш... Сейчас уже таких не делают.

— Он такой старый, — заметила моя мать, стараясь сбить цену.

— Старый-то старый, да я и отдаю его задешево, чуть ли не себе в убыток. Уж больно он много места занимает, мне лишь бы от него избавиться.

— Вид у него потрепанный...

— Загляни внутрь — он не хуже нового. В самый раз на нем сидеть во время качки. Он и в самом деле немного потрепан, но если твой сынок помотается по кубрикам, как этот сундучок, он тоже малость поизносится. Покрась его — и он новому не уступит. Зачем же тратиться на новый, если твой сынок в первом же порту может сбежать с корабля? А когда ночью спускаешься по веревке вниз, сундучок с собой нехватишь.

— Мой сын не сбежит, — поспешила вставить мать.

— Это как сказать, — хитро улыбнулся старик. — Кто его знает, что он там без тебя выкинет. Бери, голубушка, этот сундучок, и он послужит твоему сынку, пока тот не станет капитаном. А он станет, это уж точно, я по его глазам вижу. В придачу я, так и быть, дам вещевой мешок — на нем, правда, есть заплатки, но какая разница? Мешок пригодится, когда твой сынок задумает бежать, он сложит в него свое имущество и сбросит в лодку, никто и не услышит.

— Говорю вам, мой сын не убежит, — сказала мать и вытащила деньги, чтобы расплатиться.

Теперь оставалось получить официальное разрешение на плавание от отца, а это было нелегко. Мой отец по-прежнему настаивал, чтобы я пошел в посыльные и сразу начал зарабатывать. Он задумал это еще до того, как ушел из дому, а до официального развода его слово было для нас законом. Мать с трудом уломала его, нехотя подписал он бумагу.

— Больше я его знать не желаю, — с горечью сказал отец. — Ничего путного из него не выйдет — вот увидишь.

Среди других парусников в порту стоял четырехмачтовый барк "Генриетта" водоизмещением три тысячи тонн. Ему предстояло идти вокруг мыса Горн в Санта-Росалию в Калифорнийском заливе. На него-то я и нанялся на три года юнгой с жалованьем 5 марок в месяц.

В одно из своих посещений отец пересказал матери то, что он слышал о "Генриетте" в порту. Среди матросов она слыла проклятым Богом кораблем, и набрать на нее команду было нелегко. Во время последнего плавания капитан, человек прижимистый, умер от заражения крови недалеко от мыса Горн. Много дней он пролежал в своей каюте беспомощный, без всякого ухода, а когда скончался, его труп выбросили за борт без подобающих почестей. Командование взял на себя помощник. Он облачился в парадную форму покойного и с важным видом расхаживал по палубе. Кончилось тем, что он сошел с ума. Угрожая матросам шестизарядным револьвером, он загнал их на рей и пытался перестрелять. Матросы взбунтовались и забаррикадировались на баке. Когда судно, обогнув с грехом пополам мыс Горн, бросило якорь у Икике в Чили, почти все паруса клочьями свисали с рей. Помощника сняли с корабля. Напуганные хозяева на этот раз подобрали капитана и помощника, известных своей жестокостью. Отец побывал на борту и поговорил обо мне с помощником. Это очень беспокоило мать.

Через день после того, как я подписал контракт, я одолжил тачку и с помощью соседского мальчика взвалил на нее мой сундучок. В порт никакой транспорт не ходил, и мы весь путь проделали пешком. Матросы подняли сундучок на палубу, я сменил школьную форму

на грубошерстные штаны и свитер и тут же приступил к работе. Помощник капитана, коренастый мужчина с большой головой, кустистой бородой и светло-серыми глазами, показался мне суровым и бессердечным, даже жестоким.

На судне я оказался среди канатов и тросов, цепей и парусов, громоздившихся на палубе или свисавших сверху. Нельзя было сделать и шагу, чтобы не задеть их. В этом странном окружении, казавшемся мне хаосом, работали люди геркулесовского сложения. Налегая на канаты, они подбадривали друг друга криками или дружно, разом, издавали звуки, больше всего напоминавшие звериное рычание. Это все были молодые парни. Когда вечером после работы мы голые мылись в деревянных чанах на полубаке, мне казалось, что меня окружают ожившие статуи древних эллинов из музея.

Экипаж на "Генриетте" целиком обновился, от прежнего остался лишь датчанин, матрос второго класса. Пока судно стояло в порту, он выполнял обязанности ночного сторожа. Мы жили с ним в одном помещении. Воспользовавшись тем, что команда сошла на берег гульнуть на прощание, он с новыми драматическими подробностями рассказал мне о событиях последнего рейса и даже показал следы, оставленные пулями безумного помощника на реях. Тут-то я и спросил его, сбудется ли мечта моего детства — разрешат ли мне взобраться на реи.

— Это как захочет помощник, — ответил матрос. — Но не беспокойся, ты полазишь по ним столько, что тебе осточертеет. Подожди, вот попадем в шторм, и "Генриетту", эту тихоню, как подменят. — Он засмеялся.

— А можно мне сейчас попробовать?

Матрос покачал головой:

— Сейчас нельзя. Еще светло, тебя могут увидеть. Не дай бог, упадешь и сломаешь себе шею, отвечать кто будет? Я!

— Тогда разбудите меня ночью, — попросил я.

— Хочешь ночью взобраться на реи? — Он хитро улыбнулся, совершенно уверенный, что мне этого не сделать. — Хорошо, разбужу.

Мы еще походили по палубе, потом я лег на узкую койку, напомиравшую греб, и тут же заснул. Вскоре я почувствовал, что меня трясут за плечо, и открыл глаза. Вокруг в полном мраке храпели товарищи. "Час ночи — самое время лезть на реи", — прошептал мне на ухо датчанин. Я слышал, как он осторожно притворил за собой дверь.

Я вылез из койки, натянул штаны и фуфайку, обулся и вышел. На меня пахло ночной свежестью. Над головой, между снастями, виднелись звезды. "Вот это жизнь!" — мелькнуло у меня в голове.

— Полезешь? — спросил матрос второго класса.

— Да, конечно! — И я направился к поручням.

— Старайся держаться на руках, — предупредил он.

— На выбленки [*] не надейся, лучше на них не становись. На обратном пути снасти не чинили, они все сгнили.

Я начал карабкаться вверх. Все выше взбирался я между спутавшимися канатами, все время проверяя, выдержат ли они мой вес, и избегая опираться на выбленки. Я одолевал ярд за ярдом. Воздух становился холоднее, обзор шире, рей и снастей меньше. Наконец я достиг бом-брам-стенги — самой высокой части мачты. Меня окружала ночь. Палуба осталась далеко внизу, очертания судна и снастей, по которым я только что карабкался, растворились во мраке. Я повернулся в сторону квартала, где жила моя мать с братьями. Может быть, мать не спит и думает обо мне. Я готов был сдвинуть горы, лишь бы помочь им. Прошло несколько минут, и я уже собирался спуститься вниз, но тут взгляд мой упал на топ бом-брам-стенги в нескольких ярдах над моей головой. Мне захотелось достигнуть самой

высшей точки на корабле. Обхватив мачту руками, я пополз наверх и несколько раз дотронулся до топа.

Утром моя мать пришла прощаться — на завтра мы выходили в море. Был жаркий летний день. Я укладывал в рубке уголь для камбуза. Трудную эту работу приходилось делать, лежа на спине, чтобы как следует заполнить пространство между бимсами. "Тебя спрашивают!" — крикнул в рубку третий помощник. Я выполз наружу. Руки мои были покрыты мозолями от лопаты, колени — я не раз ударялся ими о перекладины — кровоточили, пот струйками стекал по грязи, покрывавшей меня с ног до головы. Мать меня не узнала.

— Мама! — окликнул я ее, подойдя совсем вплотную.

Ее глаза наполнились слезами. Через полчаса мы распрощались. Она сошла по сходням на берег, обернулась и помахала мне рукой. Только тогда я вернулся в рубку.

На следующий день рано утром пришел буксир. Швартовы сняли с кнехтов, и он потащил нас вниз по реке. После Куксхафена поставили паруса, и они наполнились ветром. Буксир отделился от "Генриетты". Плавание началось.

Я в это время подметал палубу. Ко мне подошел помощник капитана, здоровенный детина.

— Заруби себе на носу, если тебе что не нравится, можешь прыгать за борт, — деловито сообщил он ледяным тоном.

Почему он так сказал? Чем я провинился? Долго я не мог понять, в чем дело, а потом вспомнил, что с ним беседовал мой отец... Что он на меня наговорил?

И я, на целых три года привязанный к "Генриетте" и помощнику, почувствовал себя пленником. За высокими фальшбортами, окружающими палубу, показалось море, о котором я столько мечтал, но мне было не до него.

А ведь я, глупец, боялся сначала второго помощника, блондина атлетического сложения. Он был не намного выше меня, но, что называется, косая сажень в плечах, а мускулатурой мог поспорить с ломовой лошадей. Этот человек с невинным взглядом голубых, чуть ли не детских глаз отличался необычайной вспыльчивостью и почти звериной быстротой в движениях. Накануне он, увидев, что кузнец без разрешения садится в шлюпку, идущую к берегу, бросил в него обруч от бочки. Обруч пролетел в нескольких дюймах от головы кузнеца.

Мы пересекли Атлантический океан с северо-востока на юго-запад и, обогнув мыс Горн, пробились на запад, в Тихий океан. Спать нам удавалось только урывками, да и то в полном облачении — в плащах, тяжелых сапогах, зюйдвестках, привязанных к голове, — чтобы в случае столкновения с айсбергом пулей вылететь на палубу. Правда, все равно до того, как погрузиться навеки в ледяную воду, мы бы успели только увидеть, как гибнет наше судно. Непрерывно подстегиваемая то с одной, то с другой стороны штормами, "Генриетта" шесть недель боролась среди айсбергов с безжалостным встречным ветром и мужественно продиралась сквозь мрак, мокрый снег, град и туман.

На сто шестьдесят девятый день мы бросили якорь в Санта-Росалии — маленьком мексиканском порту на Калифорнийском полуострове. На следующее утро мы приступили к разгрузке угля — он предназначался для плавильного предприятия большого медного рудника. В порту стояло чуть ли не двадцать парусников. Они уже разгрузились и ждали приказаний от хозяев или пытались пополнить свою команду. Ежедневно в шесть утра я с одним матросом спускался в трюм и наполнял углем корзину, вмещающую три четверти тонны. Гордень [*] подхватывал корзину и опускал в вагонетку на пристани, а там ее толкал мексиканец. Всю неделю, кроме воскресенья, мы работали с шести утра до шести

вечера. Месяца через два весь уголь сгрузили и на борт взяли балласт.

Ночью, когда все спали, я засунул свои вещи в старый залатанный мешок, подарок гамбургского старьевщика, и, стараясь не шуметь, вышел из жилого помещения для команды. Ночь была ясная. Звездное небо сливалось с безмолвными холмами вокруг Санта-Росалии. Я привязал к мешку веревку и уже хотел опустить его, как вдруг из темноты выступил вахтенный. Он сразу догадался, что я собрался бежать, но спокойно сказал:

— Ступай на пристань, а мешок я тебе спущу.

Осмотревшись по сторонам и убедившись, что больше никто за мной не следит, я спустился по сходням вниз, отвязал мешок, спущенный матросом, махнул ему на прощание рукой, взвалил мешок на спину и, не оглядываясь, без сожаления пошел прочь. Ничего хорошего я не видел на судне, только на реях я чувствовал себя счастливым и беззаботным.

Роста я тогда был среднего, но, по словам матросов, силой не уступал ломовой лошади. Не всякий взрослый сравнится бы со мной выносливостью. Меня, единственного из тридцати человек команды, каждый день назначали разгружать уголь. Первому помощнику этого показалось мало, он заставил меня еще и балласт грузить. Но я любил работать, делал все безотказно, не жалея сил. Около мыса Горн во время свирепейших штормов я вместе с лучшими матросами лез на раскачивающиеся реи, чтобы взять рифы [*] на парусах, и удерживал их весом своего тела. Путешествие сделало меня старше на несколько лет. Шагая со своим жалким имуществом на плече, я чувствовал, что пуповина, соединяющая меня с прошлым и с детством, перерезана.

Оставив мешок в матросском кубрике английского парусника, стоявшего впереди "Генриетты", я пересек сонный город и спрятался среди холмов: капитан мог

сообщить о моем бегстве в полицию, меня бы задержали и в кандалах доставили на борт.

Взошло солнце и осветило сгоревшую от зноя землю, на которую, казалось, с сотворения мира не упало ни капли дождя. Стало жарко, как в Аравийской пустыне. Я надел мексиканскую соломенную шляпу с огромными полями — она скрывала мое лицо и защищала от солнца — и из-за скалы стал наблюдать за "Генриеттой". Немного погодя пришел буксир и вывел ее на рейд. Там она, в ожидании дальнейших распоряжений, бросила якорь. Ночью я пробрался обратно в Санта-Росалию на английский корабль, где лежал мой мешок. Весь день я ничего не ел, меня мучил голод, но я нашел только несколько галет и в жестянке спитой чай пополам с чаинками. Мне, однако, и это показалось лакомством. Заглушив голод, я попросил вахтенного разбудить меня до рассвета, чтобы я снова смог укрыться на холмах. Настроение у меня было отличное: по словам англичан, "Генриетта" уже получила приказание и утром снимется с якоря. Она пойдет в Ванкувер, там погрузит лес для австралийского порта Ньюкасл, а затем доставит уголь в Чили и нитрат в Европу. Пройдет не меньше двух лет, прежде чем она возвратится домой.

Я так устал от ходьбы по раскаленным холмам, что тотчас заснул глубоким сном. Проснулся я оттого, что чья-то сильная рука вцепилась в мое плечо и стащила меня с койки. В тусклом свете керосиновой лампы, свисавшей с потолка, я увидел четырех незнакомых матросов. Оказалось, что они с "Бермуды", английского четырехмачтовика, которому утром предстояло выйти в море. На судне не хватало одного матроса, вот они и пришли за мной.

"Соглашайся, — уговаривали они меня, — это лучший корабль в порту, да и полиция до тебя не доберется". Мне предлагали должность матроса первого класса с жалованьем в двадцать раз больше, чем на "Генриетте".

Это решило дело. Я быстро сложил свой мешок, мы вышли на палубу, спустили его в спасательную шлюпку — мои новые знакомые "одолжили" ее на каком-то корабле, — прыгнули в шлюпку сами и отвалили от судна.

Плыли мы мили три. Из пьяной болтовни моих спутников я узнал, что "Бермуда" направляется в чилийский порт Антофагаста за нитратом для Европы. Тогда большинство парусников ходило по этому маршруту. Матросы хвастали, что капитан обещал, если они привезут меня, столько денег, что уж на четыре-то бутылки наверняка хватит. Как только мы поднялись на борт, меня отвели в каюту капитана, и я подписал контракт.

Так я оказался на английском корабле, где говорили только по-английски. После завтрака я вышел на палубу. Я сразу заметил, что у нас не больше половины команды; остальные сбежали, и капитан не пытался их заменить. Так поступали многие капитаны, экономя деньги своим хозяевам и наживаясь сами за счет невыплаченного жалованья.

Боцман велел мне взобраться наверх и отдать сезни [\[*\]](#), а остальной команде выбирать снасти, чтобы поставить паруса. Когда я спустился на палубу, паруса были поставлены, брасы обтянуты и мы с береговым бризом выходили в море курсом на юг.

Ко мне обратился мускулистый матрос средних лет с невиданно густой растительностью на голове и лице. Я в ответ улыбнулся, покачал отрицательно головой и на лучшем своем школьном английском произнес:

— Я не говорю по-английски, сэр.

— Чтоб мне провалиться! — набатным колоколом загрохотал волосатый. — Нанялся на этот проклятый английский корабль, а сам не знает ни одного проклятого английского слова. И не вздумай снова величать меня проклятым "сэром". Это годится только

для проклятых ублюдков, если у тебя хватит ума так к ним обратиться. Они, будь трижды прокляты, проглотят и это.

— Но я немного понимаю, — сказал я, улыбаясь этому человеку. Не по росту длинные сильные руки и мохнатая, словно у медведя, грудь придавали ему несколько комичный вид.

— Я тебя научу английскому, парень, я тебя научу, — гремел он, а глаза его светились дружелюбием. — На этом корабле одни боши и итальяшки, по-английски слова прилично не выговорят, готов хоть пари держать! Взгляни-ка, к примеру, на этого шотландца! — Он ткнул рукой в матроса, стоявшего рядом, не переставая оглашать звуками своего голоса весь корабль. — Может, ты думаешь, он говорит по-английски? Ничуть не бывало! Ни одна собака его не поймет! Ирландия, парень, единственная в мире страна, где знают толк в английском, и тебя я тоже выучу. А вот тот вахтенный, ублюдок из Ливерпуля, бормочет так, что свинью и ту скорее поймешь.

Здесь была совсем иная обстановка, чем на "Генриетте". Каждый был сам себе хозяин, делал свое дело так, как считал нужным, говорил что хотел. Никто не следил за дисциплиной, люди не чувствовали железной руки, острого глаза, подмечающего каждое их движение, не боялись, что их обругают или накажут. Матросы, веселые ребята, любили и умели работать. Все они уже много лет ходили на парусниках. Команда состояла в основном из скандинавов, англичан и немцев, еще были два американца — один, из Чикаго, плавал раньше по Великим озерам, а второй, индеец-полукровка, работал на медных рудниках в Санта-Росалии, — молодой австралиец и финн-плотник. "Генриетта" походила на тюрьму. Здесь я пользовался полной свободой и, главное, уважением. Я и не предполагал, что могу быть в плавании так счастлив.

Мы взяли курс на юг, пересекли экватор и, подгоняемые юго-восточным пассатом, долго шли на юг в бейдевинд [*] левого галса. Затем мы легли на другой галс и направились к берегам Чили. Два месяца мы стояли среди других парусников на рейде и сгружали с лихтеров на борт нитрат. Когда наконец мы пошли на юг, в Европу, судно сидело в воде на целый фут глубже положенного. Матросы ворчали, зная, что в шторм волны будут перекатываться через палубу. В Антофагасте капитан взял только одного матроса, хотя рабочей силы там было сколько угодно. "Проклятый капитан! — гремел Пэдди. — Кровавым потом мы изойдем, пока будем огибать мыс Горн зимой, когда проклятый корабль стоит без движения, словно баржа с грузом на реке".

С погодой нам не везло. Провиант весь вышел, мы опаздывали в Гамбург на много месяцев. К этому времени я уже свободно говорил по-английски. Вынесенное из школы оксфордское произношение уступило место ирландскому и шотландскому. Главными моими наставниками были Пэдди и Скотти, молодой матрос из Глазго, который, прежде чем произнести слово, пережевывал его до неузнаваемости. Пэдди был в нашей вахте запевалой, и, пока мы работали, трубные звуки его низкого голоса разносились далеко над морем. Не подтянуть ему мог разве что немой.

В Гамбурге с нами расплатились. Я вышел из английского консульства, позвякивая в кармане золотыми монетами, протиснулся между моими пьяными товарищами и повисшими на них портовыми девками, сел на трамвай и поехал домой. В мое отсутствие мать хлебнула лиха. Из ее писем в Санта-Росалию и Антофагасту я знал, как трудно ей пришлось, и решил расстаться с морем. Плавание на парусниках не сулило ничего хорошего. Я научился любить море и величественные корабли, работу на палубе и на реях,

бури и штили, жизнь, полную лишений, но продолжать ее не имело смысла. Даже капитан и его помощник вели самый примитивный образ жизни, который со временем, несомненно, мне опостылеет. Да и денег платили ничтожно мало. Кроме того, я понял, что подходит к концу золотой век больших металлических парусников, появившихся в конце прошлого столетия, что их вытесняют паровые суда, что последние становятся все более выгодными. Чтобы выдержать конкуренцию с ними, хозяева парусников набирали меньше людей, чем надо, хуже кормили команду, не ремонтировали снасти... Парус, благодаря которому было открыто столько новых стран, доживал свои последние дни. Отзвуки его славы коснулись моего слуха, как раз когда мною овладело отчаяние, а теперь замерли где-то вдали.

— Мама, — сказал я, отдавая ей горсточку золотых монет, — я сяду на первое подвернувшееся судно, идущее в Америку; убегу с него, накоплю денег, а потом выпишу тебя и ребят.

На "Бермуде" я слышался таких историй. Почти все матросы в свое время дезертировали с судов в Соединенных Штатах, Аргентине, Канаде или Австралии. Поработают на берегу, пока не надоест, и снова нанимаются в плавание. Когда они пускались в свои бесконечные рассказы, я их буквально засыпал вопросами: какие там люди да сколько платят... Наконец я избрал своей будущей родиной Штаты, как говорят моряки. В этой стране я смогу зарабатывать столько, чтобы прокормить мать и братьев.

Через несколько дней после расчета я снова отправился в порт, в бюро по найму моряков на английские суда. Комната была битком набита людьми. На доске висело несколько объявлений — требовались матросы, кочегары, кочегары для работы в угольной яме. Зазвонил телефон, инспектор по найму снял трубку.

— Матрос первого класса нужен на "Инкулу", стоит в Бремерхафене, сегодня в полночь выходит в Галвестон! — прокричал он.

— Где этот Галвестон? — спросил я матроса, стоявшего рядом. — Что-то я не слышал о таком порте.

— В Проклятом заливе, — ответил он.

— В каком заливе? — не понял я.

— Ну, в Проклятом, то есть в Мексиканском.

— Значит, он в Мексике?

— В Штатах, будь они трижды прокляты, в Техасе, — отрезал он, возмущенный моим невежеством.

Я предъявил матросскую книжку, документ о расчете с английского судна и тут же получил работу. Зрение мое теперь значительно улучшилось, и медицинский осмотр я прошел без труда. Дома я быстро упаковался и на поезде доехал до Бремерхафена. В полночь судно снялось с якоря. Прежде чем пересечь Атлантический океан, мы зашли в Порт-Толбот за углем.

Месяц спустя я увидел впереди низкий берег Техаса. Мы стали на якорь и приступили к погрузке хлопка.

Через десять дней трюмы наполнились. Теперь нам предстояло выйти в море. Каждый вечер я сходил на берег, стремясь получше узнать страну, которую собирался избрать своей родиной. Когда я первый раз ступил на ее землю, волнение буквально распирало меня. Я гордо выпрямился и, если бы не прохожие вокруг, громко запел бы от радости.

И вот настал великий миг. Я нарочно оставался на борту до самой последней минуты, чтобы не вызывать прежде времени подозрений и заранее решить, что делать, когда я покину корабль.

Несколько матросов уже сбежали, и у трапа выставили часового с ружьем. Но разве это могло остановить меня? Если бы понадобилось, я добрался бы до страны своих грез даже вплавь. Я прошел на полубак, снял со швартовов предохранительный щит от крыс,

повис на руках и, перебирая ими, добрался до берега. На железнодорожной станции я взял билет до Хьюстона, сонного городка без какого-либо будущего, милях в пятидесяти от Галвестона. Там, мне казалось, я буду в безопасности, если меня начнут разыскивать. Был сезон отгрузки хлопка, Галвестонский порт кишел судами, с которых все время бежали матросы, полиция вылавливала их и сдавала на первый попавшийся корабль.

На первых порах я нанялся на работу у фирмы "Бразос Боттом": валил лес, грузил бревна на запряженную быками телегу, на лесопилке разделявал их на доски. Потом мне довелось расчищать лес и заготавливать дрова, пока я не решил, что опасность миновала и можно вернуться в Галвестон. Там я работал на драге, грузил уголь, кочегарил на американских военных транспортах "Макклеллан" и "Самнер". Это был период конфликта с Мексикой, и транспорты перевозили войска. После ликвидации конфликта я остался в Галвестоне, сначала на драге, а потом перешел в грузчики — они лучше зарабатывали. Все это время я откладывал деньги. А тут моя мать получила небольшое наследство от сестры, умершей в Богемии, и я смог забрать ее и братьев в Америку. Вскоре мы купили маленькую ферму в Галвестонском округе и начали новую жизнь. Ничто больше не связывало нас с Европой. Это было за два года до Первой мировой войны.



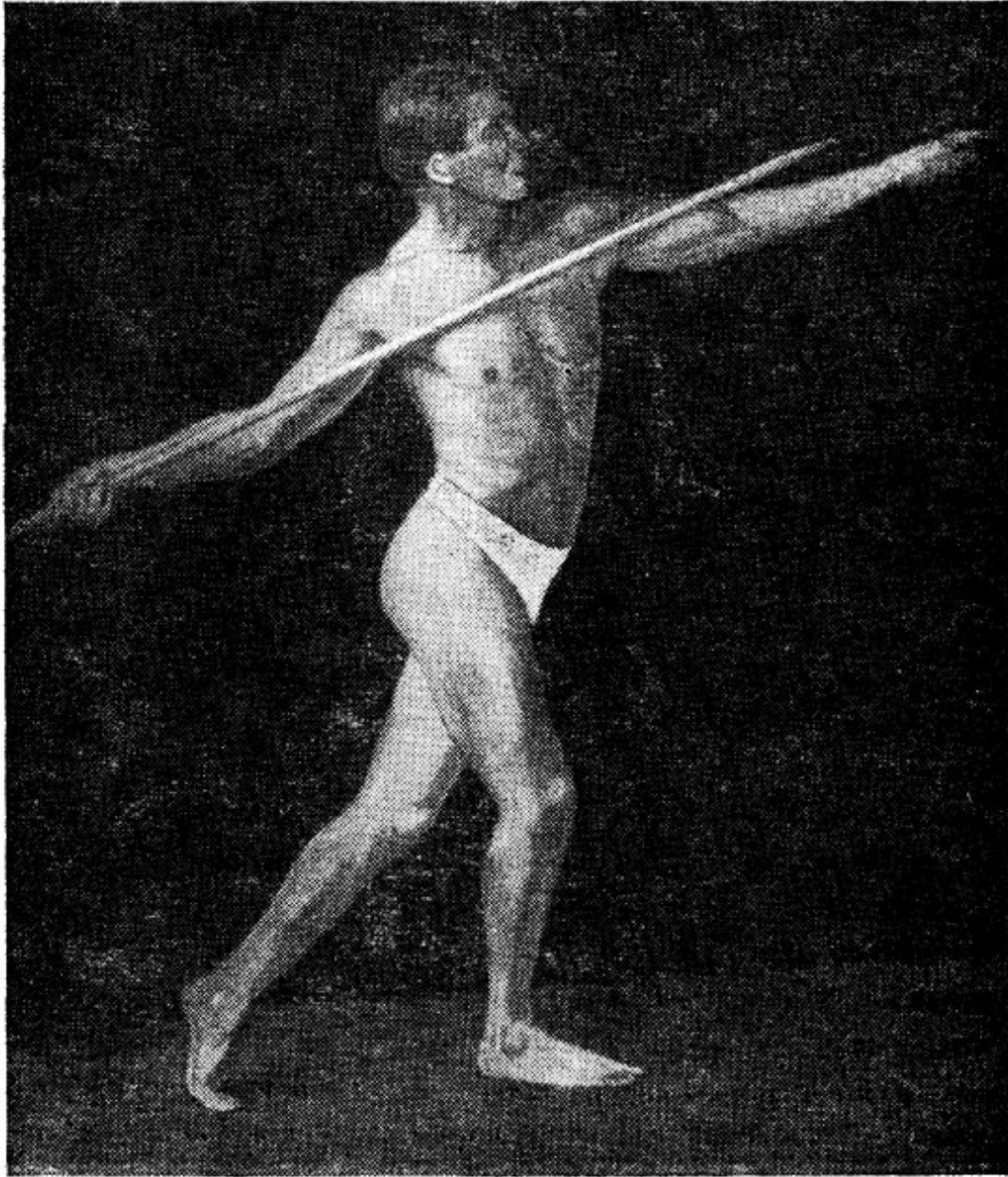
Участок, который мы купили, — целинная земля в прериях — оказался непригодным для земледелия. Мне пришлось снова отправиться в Галвестон, благо до него было не больше двадцати миль, и вступить в союз грузчиков. Когда судов не было, я работал на драге — в то время строили Хьюстонский судоходный канал, ходил на рыболовецких шхунах в залив Кампече у берегов Мексики, убирал хлеб. По мере его созревания я продвигался на север — начинал я в Техасе или Оклахоме, затем переходил в Канзас, а заканчивал в Дакоте. К тому же я стал профессиональным борцом. Братья мои тем временем подросли, им надо было учиться, и в 1919 году мы продали дом и переехали в Сан-Франциско.

Тут только и начались по-настоящему мои странствия. Я пересек Америку с востока на запад, с севера на юг. Где я только не побывал! В Вашингтоне и Орегоне, на разных реках и побережьях, в горах и долинах! То я валил лес, то строил суда, то ловил рыбу на Аляске, прокладывал дороги и разведывал недра. Затем судьба снова забросила меня на юг. Я исколесил все Тихоокеанское побережье и в конце концов напал на только что открытые нефтепромыслы Западного Техаса и Оклахомы.

В 1920 году я работал клепальщиком на Сан-Францисской верфи и чуть было не потерял глаз, а в 1922 году при погрузке хлопка в Галвестонском порту на японское судно сломал ногу. Почти год мне пришлось ковылять на костылях. Делать мне было нечего, и я снова обратился к книгам. Я не брал их в руки с тех пор, как в 1908 году нанялся юнгой на "Генриетту". Кроме того, я писал стихи, рисовал карикатуры, в том числе и

для страничек юмора. Как только я смог ходить, я поехал в Нью-Йорк и Кливленд, чтобы предложить их в газету. В Кливленде мне улыбнулось счастье: я подружился с Донахеем, известным карикатуристом газеты "Плейн Дилер", и он предложил мне постоянное место. В последний момент я, однако, отказался от перспективы день-деньской сидеть в редакции прикованным к письменному столу, когда мир так велик и я еще столько не видел! Я нанялся на пароход и плавал по Великим озерам, а когда их сковало льдом, вернулся на Тихоокеанское побережье. Из-за перелома ноги я опять пристрастился к книгам и теперь старался наверстать упущенное. Как только я оставался без работы, я погружался в чтение, пока у меня не кончались деньги.

Все эти годы меня не покидала мечта моего детства — быть здоровым и сильным, и я испробовал разные системы физкультуры и диетического питания.



В 1922 году Уиллис оспаривал в Галвестоне, штат Техас, право называться совершенно сложенным человеком. Уиллис проиграл.

В 1938 году я женился. С Тэдди я встретился на небольшом пароходе "Ингрид". Я ехал во Французскую Гвиану, чтобы помочь бежать невинно осужденному арестанту. Мне рассказала о нем его мать, француженка, державшая в Нью-Йорке гостиницу. Я в

ней иногда останавливался. Тэдди собиралась предпринять на "Ингрид" путешествие по Карибскому морю. С паспортом горного инженера в кармане я сошел в Нидерландской Гвиане и оттуда начал атаку на исправительную колонию. С моей помощью арестанту удалось бежать на шлюпке в Бразилию, после чего я вернулся в Нью-Йорк и женился на Тэдди. Она содержала гастрольное бюро. Я распрощался с морем и поселился в Нью-Йорке.

В 1948 году мы отправились в Вест-Индию. Вскоре мы обзавелись туземным шлюпом и несколько месяцев крутились между островами, возвращаясь время от времени на Сент-Томас. Этого нам показалось мало, и мы решили на нашей утлой посудине без мотора пройти до Майами — это составляло около двух тысяч миль. В Карибском море мы попали в шторм, он выбросил шлюп через Юкатанский пролив в Мексиканский залив, там нас как следует помотало, и скорлупка наша дала течь. Пристать мы никуда не могли и, чтобы не пойти ко дну, день и ночь вычерпывали воду. Наконец наш сигнал бедствия заметило торговое судно "Бонито" джэксонвиллской "Саванн стимшип компани". Капитан предложил взять нас на борт и доставить в Гавану, нас, но не наш шлюп, мне же было жалко его бросать. Я попросил взять одну только Тэдди и передать мой SOS береговой охране, но Тэдди наотрез отказалась подняться на борт судна. "Я останусь с тобой", — заявила она, и никакие доводы на нее не действовали. В этом была вся Тэдди — маленькая, вроде бы даже хрупкая на вид, но с железным характером. А ведь раньше она ни разу не садилась даже в обычную лодку, родилась в Нью-Йорке, где за домами не видно неба, и всю жизнь провела в конторе!

В сумерках "Бонито" исчез за горизонтом. Мы продолжали выкачивать воду, надеясь, что капитан передаст наш сигнал SOS и он будет услышан. Мы

находились приблизительно в ста двадцати милях к западу от островов Драй-Тортугас. Я выбросил весь балласт, но шлюп все больше погружался в воду, и к ночи палуба почти скрылась под водой. Часа в два мы увидели вдали огни — к нам быстро приближалось судно, оно шло точно на нас. А вдруг оно не заметит шлюп и налетит на него? Тогда останется одно — прыгать в воду. Правда, у нас был небольшой фонарик — единственная вещь, которую пощадил шторм, но чем его заправить? Ни керосина, ни бензина не осталось. За неимением спасательных поясов я привязал Тэдди к себе: она не умела плавать. В последнюю минуту огни отклонились в сторону, и тут я разглядел, что это эсминец. С судна нам бросили конец, и двенадцать часов спустя мы пристали к острову Ки-Уэст.

Оказывается, наши сигналы приняли военные моряки, они выслали на помощь эсминец, он же с помощью радара определил наше местонахождение.

После нескольких недель плавания по высокой волне Тэдди нетвердо держалась на ногах, но как только шлюп привели в порядок, ее потянуло обратно в море. Она питала к нему, можно сказать, необычайную привязанность, а ее выносливость вызывала удивление. Шлюпы Вест-Индии устойчивы и имеют хорошие мореходные качества, но конструкция их примитивна до крайности. Ведь они предназначены только для каботажного плавания. Тэдди, однако, никогда не жаловалась на неудобства.

Несколько лет спустя Тэдди лежала в нью-йоркской больнице. Ее оперировали по поводу щитовидной железы. Я тем временем плавал вдоль побережья и каждые несколько дней возвращался в Нью-Йорк, чтобы навестить Тэдди. Однажды меня осенило: я построю плот и один пересеку на нем Тихий океан. Плот, как настоящее мореходное судно, будет идти по определенному курсу, к месту назначения.

Тэдди запротестовала:

— Один, в твоём-то возрасте! Тебе скоро стукнет шестьдесят! Нет, нет, ни в коем случае!

После того как она выписалась из больницы, я много плавал на танкерах. Не раз во время столкновений судов и взрывов я бывал на волосок от гибели. К тому же целые сутки приходилось дышать испарениями, просачивавшимися сквозь плохо зашпаклёванную палубу, горловины люков и вентиляционные отверстия. На нас лежала чистка резервуаров, и эта работа нередко кончалась тем, что я обвязывал веревкой товарища, отравившегося парами нефти, и вытаскивал его наверх, на свежий воздух. Через два года Тэдди поняла, что работать на танкерах не менее опасно, чем в одиночестве плыть на плоту, и согласилась отпустить меня.

22 июня 1954 года Тэдди стояла на пирсе перуанской военно-морской базы Кальяо и смотрела, как буксир выводит мой плот в открытое море. Я направлялся на острова Самоа. Капитан порта, оформив мне отход, сказал:

— В пути ты не пропадёшь, но вот отмахнешь миль этак тысяч семь да и наскочишь на какой-нибудь риф, о котором никто никогда и не слышал.

Через сто пятьдесят дней, когда все уже давно считали меня погибшим, я пристал к островам Самоа.

Я написал книгу об этом плавании и прочитал лекции в Америке и Европе. И вот тут-то, на шестьдесят пятом году жизни, я обнаружил, что тело мое проявляет признаки усталости. Давал себя знать возраст. Для меня это было ужасным потрясением: железный человек, негиббемый начал поддаваться. Я думал, что не сломясь никогда, и вдруг убедился, что тело мое находится во власти тех же законов, что и все живое. Меня ожидали старость, немощность и в конце концов смерть. Всю свою жизнь я изучал человеческое тело, оно

интересовало меня, как ничто другое, и, зная, что со мной происходит, я без труда мог проанализировать симптомы и решить, как поступить.

Мы нашли тихое местечко среди холмов Южной Калифорнии, распахали участок целины и начали выращивать овощи. Я работал как одержимый. Еще бы! Я боролся за свою жизнь. Выиграю или проиграю? Два года это было неясно. Тэдди, не отходившая от меня ни на шаг, иногда боялась, как бы я не переборщил. "Не жди невозможного, — говорила она. — Чего ты хочешь? Ты старый человек, тебе скоро будет семьдесят..." Но я был уверен, что мои знания, проницательность и воля одержат верх. И в конце концов перелом наступил.

Переболев лихорадкой в такой тяжелой форме, что от пота были мокрые не только одеяла и простыни, но даже матрац, я сказал Тэдди: "Я победил!" Правда, прошел еще год, прежде чем я окончательно пришел в себя.

Мы жили милях в десяти от побережья Тихого океана и несколько раз в неделю отправлялись на пляж купаться и загорать. Однажды, сидя рядом с Тэдди под пляжным зонтом и глядя на синие волны, я ощутил какое-то беспокойство. Вспомнилось плавание на плоту, сто пятнадцать дней, проведенных в одиночестве среди этих волн, — не здесь, правда, но в этом же океане, когда я был один и знал, что на расстоянии тысяч миль нет ни одного человеческого существа. Я почти все забыл. Так давно, кажется, были эти прекрасные дни и ночи! Весь мир принадлежал мне, начиная от самой высокой звезды на небе и кончая глубинами подо мной, из всего многомиллионного населения земного шара поблизости не было ни одной живой души.

Тэдди встала и пошла окунуться. Я следил за ней: из-за обратного течения было опасно заходить дальше чем по колено. Я погрузился в мечты, заново переживая те дни. Опять я видел акул и летучих рыб, стремительные

броски корифен и двух моих маленьких спутников — черную кошку Мики и зеленого попугая Ики. Мики еще здоровствовала и находилась тоже в Калифорнии, в Лонг-Биче, совсем поблизости от меня. Многие уже стерлось в моей памяти. Все путешествие казалось видением, которое вытеснил из головы калейдоскоп картин моей жизни, начиная с самого детства. Но сегодня, когда я, умиротворенный, размышлял под жаркими лучами солнца, меня охватили воспоминания.

Славное это было путешествие! Правда, мне все время угрожали неудачи, смерть и отчаяние, но ведь человек так легко забывает плохое! Спокойное море напомнило мне о знойных днях, когда паруса на плоту свисали с рей, подобно грязным тряпкам, бревна обрастали мхом и, казалось, глубже погружались в море, когда пустоту горизонта лишь изредка нарушала одинокая птица, пробивавшаяся вдали между стенами облаков, которые стали на якорь вокруг меня и не выпускали на волю. А тут я еще заболел. Целые сутки я, подавленный, несчастный, валялся на палубе, корчась от боли и то прижимаясь искаженным от мук лицом к бамбуковой палубе, то переворачиваясь на спину. Мне даже хотелось умереть. Я подполз к рации, хотя прекрасно знал, что она не работает, и попытался включить ее, в нелепой надежде, что проходящее судно примет мои сигналы. Глаза мои отыскивали над дверью каюты острые, как бритва, ножи для разделки рыбы. Всадить бы один из них в низ живота, откуда по телу растекается боль, и прекратить нестерпимые судороги! Я нацарапал на обрывке бумаги прощальную записку Тэдди и прикрепил ее к двери. Много часов пролежал я потом без сознания на палубе. Солнце вставало и садилось, волны перекачивались через меня, но я ничего не замечал, и только веревка, которой я привязался к плоту, не давала мне упасть за борт.

Когда я пришел в себя, боли как не бывало. Так же внезапно, как появилась, она исчезла. Только нажав на болевшее место, я вспоминал о ней. Я не мог понять, в чем дело: живот никогда меня не беспокоил. Много дней я ощущал такую слабость, что вставал только с помощью веревки, и исхудал до того, что лишь кожа да кости остались. Так до конца плавания я и не выздоровел окончательно. В Нью-Йорке выяснилось, что у меня язва желудка. Врач, который перед моим отъездом предупреждал, что в пути меня может схватить приступ аппендицита или что-нибудь в этом роде, напомнил:

— А вы ведь уверяли, что вас никакая хворь не берет. Запросто могли отдать концы.

Меня постигло еще одно несчастье: я лишился всего запаса воды. Она хранилась под палубой в пяти жестяных баках, стоявших прямо на бревнах плоты и ничем не закрытых от волн. Тонкая жесть проржавела, и вода вытекла. Я успел спасти стаканов девяносто драгоценной влаги.

Еще на "Генриетте" я приучился понемногу пить морскую воду, чтобы возместить отсутствие свежих овощей и фруктов, необходимых для бесперебойного функционирования желудка, и потом в плавании всегда пил ее. Впоследствии я убедился, что она обладает и другими, еще не изученными целебными и питательными свойствами.

И все же какой ужас я испытал, когда увидел, что остался без пресной воды! Сначала я стоял, словно громом пораженный, затем схватил пустые баки, легкие как перышки, и один за другим выбросил в море. Бачки, сверкая серебристыми гранями — они ведь были совершенно новые и проржавели только в швах, — долго танцевали передо мной на волнах, то подпрыгивая вверх, то опускаясь вниз.

Время шло, солнце прочертило по небу свой огненный путь, а я все стоял, потрясенный тем, что остался без воды, если не считать девяноста стаканов неприкосновенного запаса. До ближайшей земли — Маркизских островов — было больше тысячи миль. Я бы, конечно, мог дойти до них, но там плот неминуемо разбился бы о крутые берега, а мне пришлось бы отказаться от конечной цели — острова Самоа лежали тремя тысячами миль дальше. Даже ругать было некого. Я сам был виноват в том, что держал воду в ненадежных сосудах, да еще прямо на плоту, через который перекачивались волны. Наконец наступил вечер. Солнце село, звезды несмело вышли в ночь и взглянули на море. Было тихо, море было спокойнее, чем обычно. Покой охватил и меня. И тут я вспомнил о своей старой привычке. Я снял с гвоздя жестяную кружку, опустился на краю плота на колени и зачерпнул воду. Первый глоток, как всегда, ожег меня горечью, но я знал — вреда это принести не может. Теперь я мог со спокойной душой продолжать путешествие. Через три недели, когда я находился в семидесяти пяти милях от Маркизских островов, прошел тропический ливень — единственный за все плавание, — и я наполнил все сосуды.

...Тэдди продолжала ходить взад и вперед по мокрому от схлынувшего прилива твердому песку. Мне пришли на память и другие злоключения. Однажды я забросил леску. Приманкой служила летучая рыбка, упавшая ночью на палубу. Вокруг плота резвились корифены, одну из них я и хотел заполучить. Вскоре леска натянулась. Вытаскивая ее, я уже знал, что поймал не корифену — зацепленная крючком, она несется пулей, — а акулу. Я вытащил ее на скользкие, обросшие мхом бревна. Она лежала на спине с широко раскрытой пастью, в которой сверкали два ряда зубов. Я вставил акуле в пасть острогу, чтобы извлечь крючок, и

начал выдирать его оттуда. Наконец мне удалось его высвободить. В тот же миг хищница, лежавшая почти без движения, ожила и сильным ударом хвоста выбила острогу у меня из рук. Я потерял равновесие и через голову акулы шлепнулся в воду. Обезумев от страха, я быстро перевернулся, чтобы ухватиться за край плота, но он уже покачивался за пределами досягаемости. Тут меня что-то потянуло... Когда я падал, крючок, извлеченный из пасти акулы, зацепился за рукав свитера. Я схватился за леску и начал подтягиваться к плоту, медленно, осторожно — леска была старая, во многих местах она была еле жива. Мне ее подарил в Кальяо капитан тунцеловного клипера. Подтягиваться и плыть мешала поврежденная артерия на левой руке: я порезался о челюсть акулы, за которую в поисках опоры схватился при падении. Благополучно взобравшись на плот, я наложил жгут на рану. Ее необходимо было зашить, но чем? Игла для парусов была слишком толстой и причиняла сильную боль. Сто дней спустя, когда я высадился на берег, рана еще не затянулась.

Трудности и невзгоды... Борьба, что закаляет человека... Минуты, которые решают — жить или не жить... Я улыбался, глядя в синие глаза Тихого океана, как улыбаешься старому другу, с которым прожил славные дни. Тэдди вернулась и села рядом.

— Вода чудесная. Пойди искупайся, — сказала она.

Вечером я шагал взад и вперед перед нашим бунгало на пустынных отрогах хребта Санта-Маргарита. Тэдди сидела дома за книгой. Кругом было тихо, если не считать шуршания сухих листьев авокадо в ближней роще, напоминавшего скорее тихий шепот. Мне казалось, что это Тихий океан все еще беседует со мной о семи бальсовых бревнах, скрепленных в плот, который плывет сквозь бури и штили. Вдруг тишину нарушили вопли, визги и стоны безумцев, объятых пламенем: стая койотов напала в соседнем ущелье на след кролика.

Затем снова стало тихо, так тихо, что мне почудилось, будто я слышу, как переговариваются звезды. А я все ходил, как маятник, туда и обратно, туда и обратно, не отрывая глаз от западной части горной цепи, за которой в нескольких милях раскинулся Тихий океан. И вдруг я понял, что предприму еще одно плавание на плоту. Вот так неожиданно, словно откровение, ко мне приходили все мои решения.

Шли дни, а Тэдди даже не подозревала, что я замыслил. Впрочем, мое намерение еще не приняло конкретной формы, хотя я уже решил, что, как и в 1954 году, отправлюсь из Кальяо, но пойду на этот раз в Австралию, если удастся — в Сидней. Это означало, что я пересеку с востока на запад весь Тихий океан, пройду один, без высадки на сушу, не меньше двенадцати тысяч миль. Суждено ли когда-нибудь сбыться этой мечте, порожденной бездействием? — спрашивал я себя сотни раз. Можно ли совершить такое плавание? Я проделывал путешествие, день за днем, ночь за ночью отыскивая в нем минусы и плюсы, стараясь предугадать капризы безжалостного моря. И что на меня вдруг нашло? Безумство это или же долго сдерживаемая физическая энергия властно потребовала приложения? А может, сказалось унаследованное от матери желание посмотреть, что скрывается за горизонтом? Как бы то ни было, мысль о плавании не покидала меня.

Однажды я поделился ею с Тэдди. Она посмотрела на меня так, словно я сошел с ума. Убеждать ее было все равно что киркой разбивать египетскую пирамиду, вынимая камень за камнем. Я рассказал ей обо всем, что передумал за эти дни, — лишь бы она поняла, почему мне необходимо совершить путешествие. Однажды, выслушав заново все мои доводы, Тэдди совершенно неожиданно для меня сказала:

— Жизнь с тобой станет невыносимой, если ты этого не сделаешь. Собирайся!

Я написал письмо в Эквадор: смогу ли я получить бальсовые бревна, если да, то когда, и возможно ли переправить их в Штаты? Я хотел строить плот в Нью-Йорке — там легче достать все необходимое, а оттуда пароходом переправить его в Кальяо.

Я хорошо помнил, что мне пришлось перенести в 1954 году, когда я искал для плота достаточно большие бальсовые деревья. Несколько месяцев подряд я летал на маленьких одномоторных самолетах над непроходимыми болотами и устьями рек. Был сезон дождей, часто туман закрывал леса или тропический ураган превращал их в бушующее море листьев. Несколько раз мы над дикими джунглями теряли ориентацию. Однажды самолет зацепился крылом за верхушку дерева и начал падать, но пилот каким-то чудом сумел избежать катастрофы. Кончилось тем, что, израсходовав почти все горючее, он посадил машину на узкую полосу травы, едва видимую в полумраке бури.

Но я все же нашел свои бальсовые деревья, хотя и не там, где искал. Мне сообщил о них индеец, живший в джунглях около Кеведо, в ста милях от Гуаякиля вверх по Рио-Плайе. "Я знаю несколько больших деревьев, — сказал он просто. — Пойдем со мной!" Мы прорубили мачете сквозь густую растительность проход на несколько миль. Деревья, голубовато-серые гиганты с гладкой корой, возвышались подобно колоннам, ожидая меня в полумраке джунглей. В радиусе трехсот — четырехсот ярдов их было семь штук, все нужного мне размера. Они стояли так близко друг к другу, словно принадлежали к одной семье, потому-то я и назвал мой плот "Семь сестричек" — "Siete Hermanitas" по-испански. У основания они имели в диаметре около двух с половиной футов — большая редкость для бальсовых деревьев, которые обычно гибнут и рушатся, не достигнув преклонного возраста. Мы прорубили через джунгли тропу, по ней быки протащили бревна до

ближайшей дороги, там их погрузили на грузовики и доставили к реке, по которой за три дня сплавили до Гуаякиля. В Гуаякиле их вытащили на берег, и я связал плот.

Несколько месяцев из Эквадора не было никаких известий. Я написал еще раз и наконец получил ответ. Вокруг Кеведо деревьев нет, сообщили мне, но их можно найти в глубине страны. Придется, однако, дожидаться сезона дождей, вернее, его окончания, так как сейчас все реки пересохли. Надо ждать восемь или десять месяцев. А чтобы по пути в Нью-Йорк стволы не треснули, их придется тщательно запаковать. Я знал, что побывавшие в воде бальсовые стволы дают большие трещины, что их вообще опасно перевозить — так они непрочны.

— Давай поедем в Эквадор и поищем сами, — предложила Тэдди, всегда жаждущая путешествий и приключений.

— В джунгли?

— Да, мне всегда хотелось там побывать.

— Ты и не представляешь себе, что это за джунгли.

— Я не боюсь. Женщины бывали в джунглях, значит, я тоже могу. А ты, может, найдешь нужные деревья, не дожидаясь сезона дождей. В пятьдесят четвертом году ты ничего не ждал.

Я покачал головой.

— Ты не знаешь, что я перенес, пока летал над джунглями и потом, когда вывозил деревья. Счастье мое, что мне удалось раздобыть быков, что поблизости не было больших болот. Деревья надо было искать в устьях или на берегах рек, к тому же достаточно полноводных, чтобы они могли унести срубленный ствол. Нет, придется ждать, иного выхода нет. Я и подумать не могу о том, чтобы снова ехать в Эквадор на поиски бальсы. Слишком дорого это обходится: лихорадка, москиты и неизменное "маньяна", если вам

нужна помощь местного населения. "Маньяна" означает "в будущем году".

— И все же я бы поехала...

— Ну, ты бы поехала хоть к черту на рога.

— Нет, просто мне кажется, что, пока ты не поедешь и не займешься поисками сам, ничего не получится.

Однажды мы снова отправились на пляж понежиться на песке. В одном месте пришлось перебираться через трубопровод. Он подводил воду к бассейну яхт-клуба, примерно в миле от берега, около Кэмп-Педлтона. Я положил руку на огромную трубу, чтобы перелезть через нее, и тут-то меня осенило. Трубы! Вот что мне нужно!

— Тэдди! — воскликнул я. — Вот они — мои бревна! Я возьму трубы!

— А будут ли они плавать? Железо ведь! — усомнилась Тэдди.

— Ну а как же плавают корабли с металлической обшивкой? Линкоры, например, имеющие стальную броню толщиной в фут?

— Ну, это совсем иное дело.

— Не волнуйся, трубы будут держаться на воде. Как это мне раньше не пришло в голову! — Я поднял камушек и ударил по трубе. — Ничуть не хуже бревна!

Я смотрел на трубы, сваренные в длинную цепочку, тянущуюся вдоль побережья, прислушивался к шумам внутри них — к журчанию бегущей воды и стуку гальки и песка о стенки. "Эти трубы тяжелые, — думал я. — Мне такие толстые ни к чему, но потоньше вполне подойдут... И где я раньше был!"

Через несколько недель мы обзвонили в Нью-Йорке все фирмы, занимавшиеся продажей труб. Весь день нам некогда было передохнуть... Столы, шкафы и даже полы были буквально засыпаны письмами, рекламами, номерами телефонов и записями, что нужно сделать. Наша машинка трещала всю ночь напролет. Я отправился в Айленд-Сити к мастеру, делавшему паруса

для "Семи сестричек". Не посоветует ли он, где можно построить плот?

— Напротив, через улицу, — ответил он. — Другого места здесь я не знаю.

На огромной верфи под навесами и в сараях стояли яхты и моторные катера, зачехленные на зиму.

— Располагайтесь, как хотите, — сказали мне. — Можете хоть завтра начинать.

Но как работать под открытым небом, на снегу толщиной два фута, около залива, скованного льдом? Снег стает в лучшем случае в конце апреля, а был еще канун Рождества. Тогда мы нашли более подходящее место — в штате Нью-Джерси. После долгих споров мы решили построить тримаран ^[*] — этот плот, известный еще в древности, последнее время вошел в моду. Договорившись о размерах, мы приступили к делу.

Плот состоял из трех плоскодонных понтонов длиной двадцать футов каждый, средний из которых несколько выступал вперед. Длина плота по ватерлинии составляла около тридцати четырех футов, ширина — около двадцати. Понтоны соединялись шестидюймовой стальной трубой, которая опоясывала их поверху и скрепляла поперечные брусья. На эту раму была настлана палуба из лучших двухдюймовых досок орегонской сосны, используемых на авианосцах. Грот-мачта имела высоту около тридцати восьми футов. К ней крепился рей длиной восемнадцать футов с гротом. Задняя мачта имела высоту двадцать футов, а утлегарь ^[2], на котором был закреплен грота-штаг, возвышался над палубой на десять футов.

За мачтой находилась каюта для провизии, карт, секстанта, хронометров, фотоаппаратов и пленок — словом, для того имущества, которое нельзя было оставлять на палубе. Каюта, имевшая около семи футов в длину и пяти в ширину, обеспечивала крышу над головой и мне. Понтоны были заполнены пенополиуретеном

[3]. Заливали его в жидком виде, но потом он затвердевал, заполнял все пространство и превращался в твердую коркообразную массу, не пропускающую воду. Благодаря этому плот не мог затонуть, даже если бы за продолжительное плавание понтоны проржавели или я наткнулся на скалы или рифы. У меня было два руля поворота — по рулю на каждый понтон в кормовой части. В остальном плот не отличался от "Семи сестричек".

Тэдди хотелось, чтобы меня осмотрел врач, ее двоюродный брат. Я знал его. В свои сорок лет он уже добился успеха, применяя современные методы лечения. Я считал, что могу обойтись и без осмотра, но Тэдди настаивала.

— Нельзя пускаться в такое плавание, не проверившись, — уговаривала она меня. — Полгода, а то и больше на плоту... И о чем ты только думаешь? Может, ты болен, сам того не зная, тогда может случиться что угодно. Вспомни, что было в пятьдесят четвертом году... Ты чуть было не умер. А если тебя вот так же схватит еще раз? Тем более что ты утомлен сборами. Если что-нибудь не в порядке, Берни выяснит и предупредит тебя. Он может дать тебе с собой на всякий случай лекарства, чтобы ты не страдал, как в тот раз. Если ты уедешь, не показавшись врачу, у меня не будет ни минуты покоя. Тебе семьдесят лет, и, что там ни говори, семьдесят есть семьдесят, а не тридцать пять. Не валяй дурака!

Я улыбался, зная, что Тэдди заставит меня побывать у врача...

— В пятьдесят четвертом, — продолжала она, — доктора в Кальяо хотели тебя осмотреть, но ты отказался.

— За несколько недель до выхода из Гуаякиля я надорвался, — возразил я. — Мне не хотелось, чтобы врачи меня задержали.

— Они бы и задержали или, во всяком случае, велели бы носить бандаж. Преступление, что ты ушел в море без него. Могло произойти непоправимое несчастье. Итак, Билл, я немедленно позвоню Берни и договорюсь, когда он тебя примет.

Я сделал несколько анализов крови и прошел другие исследования, о которых раньше даже не слышал.

Берни знал свое дело. Позднее Тэдди созналась, что он обещал "задать мне жару" и сообщить ей, если обнаружится какой-нибудь изъян в моем организме. В один прекрасный день он уложил меня на стол. К моим рукам и ногам, голове и другим частям тела подключили провода, соединявшиеся с машиной устрашающего вида с разноцветными шкалами и указателями, с лампочками, которые то зажигались, то гасли. Берни делал кардиограмму. Я спокойно дышал — так велел Берни, прислушивался к тихому гулу мотора и наблюдал за лицом Берни. Оно ничего не выражало. Наконец он выключил ток и посмотрел на ленту, зафиксировавшую работу моего сердца.

— Черт возьми! — произнес он, нахмурившись.

— Что-нибудь не так? — спросил я, уверенный, что он обнаружил нечто ужасное и путешествие не состоится.

— Вы потрясающе, я бы сказал, невероятно здоровы, — сказал он, удивленно качая головой, еще раз просмотрел кардиограмму, отсоединил провода и велел мне подняться.

— Это для моего архива, — сказал он. — Посмотрим, какие изменения произойдут после вашего возвращения. Запись я покажу одному моему товарищу — кардиологу. — Он все еще качал головой. — Можно подумать, что электрокардиограмму делали машине. Непостижимо. Во всяком случае, сердце у вас, как у быка.

Плот был почти готов, и я занялся поисками собаки и кошки, которые разделили бы со мной одиночество. В

1954 году я взял с собой кошку и попугая, но они враждовали с первого до последнего дня, и в самом конце, когда на горизонте уже показались первые острова Самоа, Мики забралась в клетку и задушила своего маленького зеленого спутника. Ночь была бурная, я стоял у штурвала и ничего не заметил. На этот раз я хотел взять щенка и котенка, чтобы они подружились.

В телефонной книге мы нашли адреса зоомагазинов и обошли все, начав с самого отдаленного. Кошек и собак было сколько угодно, но ни одна нам не нравилась. Почти все они были существа приветливые, особенно кошки. Взирая на нас из-за решетки клетки, они жалобно мяукали, словно просили, чтобы их приласкали. Собаки вели себя сдержаннее, правда, некоторые приветствовали нас дружелюбным лаем и, виляя хвостом, просовывали нос сквозь прутья клетки. В последнем магазине, занесенном в список, — старом, мрачном и тесном — продавец повел нас в погреб. Мы начали осмотр собак всех размеров, мастей и пород. И тут одни встречали нас как старых знакомых, а другие испуганно жалась в угол и даже угрожающе рычали... Бедняжкам явно не повезло в жизни, по-видимому, прежние хозяева обращались с ними плохо. Переходя от клетки к клетке, мы добрались до кошек. Разглядывая маленьких пленниц, я чувствовал себя так, словно находился на древнем рынке рабов. Но вот наконец последняя клетка... "Эта, Тэдди, эта!" Взрослая кошка, расцветкой напоминавшая черепаху, подошла к стенке клетки и потерлась о прутья. Продавец отпер клетку, кошка, громко мурлыкая, направилась прямо к Тэдди и прижалась к ней, словно ждала ее. Это было красивое грациозное животное, темно-коричневое, со светлыми мазками, с темным брюхом и белыми лапами. Среди ее предков была, очевидно, кошка персидской породы. Большие глаза золотистого оттенка делали нашу новую знакомую очень привлекательной. Нам сказали, что ей

около двух лет. Она принадлежала одной старой почтенной женщине, но та умерла. Кошка уже один раз окотилась, после этого ей удалили яичники. У нашей избранницы было не то японское, не то итальянское имя, но мы назвали ее Кики, в память о Мики. Пока мы оставили Кики в магазине — ей надо было сделать прививки для того, чтобы ее пустили в Перу, — а через несколько дней отнесли в гостиницу. Кошка сразу стала центром нашего временного дома.

Я побывал еще в нескольких магазинах, но ни одна собака мне не приглянулась. Нам пора было выезжать из Нью-Йорка, и я решил подобрать товарища для Кики уже в Перу.

IV

2 мая плот был готов. Буксир компании "Моран" доставил его по реке Пассейик в Ньюарк. Оттуда на следующий день отходила в Южную Америку с заходом в Кальяо "Санта Маргарита" компании "Грейс Лайн". Был ясный ветренный день, по синему небу мчались белые клочья облаков, и когда мы в угоду фотографам распустили грот, на нем четко вырисовывалось выведенное черной краской название плота: "Возраст не помеха". Когда мы вшестером распускали парус, он чуть не отшвырнул нас на палубу.

"С этим парусом не соскучишься", — выразил кто-то мою мысль. Плот шел очень медленно, и даже в этой реке, вернее, речушке, его носовая часть была покрыта водой. Придется снять железную каюту и заменить деревянной, я об этом и раньше думал. Только после этой и многих других переделок мое "судно" будет пригодно для океанского плавания. Я решил довести плот до кондиции в Кальяо, тем более что тамошние власти обещали мне бесплатную рабочую силу. Перу и в 1954 году проявило воистину царскую щедрость, предоставив мне бесплатно необходимые материалы и помощь.

3 мая после обеда плот погрузили на борт "Санта Маргариты". Мачты и утлегарь заранее сняли и сложили в трюм. Уже в темноте судно миновало пролив Нарроус и вышло в море.

Время на пароходе шло незаметно. По дороге мы заходили в Норфолк, Панаму, Буэнавентуру. Кормили нас превосходно, экипаж был очень любезен, пассажиры общительны. Капитан Хокансен хорошо знал меня: в 1954 году, когда "Санта Сесилия" доставила мой плот из Гуаякиля, он был главным инспектором судового состава

компании "Грейс Лайн" в Кальяо. Кики, конечно, моментально освоилась на судне и стала общей любимицей и на корме, и на баке. Глядя, как она пулей проносится мимо меня к борту, перегибается через него и смотрит в воду, можно было подумать, что она всю жизнь готовилась к этому плаванию. Сомнений не было: на плоту она будет чувствовать себя как дома.

Большую часть времени я проводил со штурманом на капитанском мостике, стараясь восстановить в памяти забытое. Я не видел карту и секстант, не определял широту и долготу с 1954 года — тогда, прибыв на острова Самоа, я запаковал все приборы. С тех пор я даже не подымался на борт корабля, если не считать нескольких поездок в Европу. На этот раз мне впервые предстояло плавать в водах к востоку от Гринвичского меридиана, который проходит через Суву на островах Фиджи. Но и от островов Фиджи и 180-го меридиана меня отделяли огромные морские пространства: Кальяо находится на 77° западной долготы. От островов Фиджи мой путь лежал через Новые Гебриды и Новую Каледонию в Австралию. Как-то раз, стоя в штурманской рубке, я даже испугался. Мне вдруг показалось, что преодолеть мой маршрут так же трудно, как добраться с Земли до Луны. Не переоценил ли я свои силы? Пока "Санта Маргарита" проходила Панамский канал и огибала побережье Колумбии, Эквадора и Перу, меня не раз одолевали сомнения. В такие минуты я выходил на палубу и смотрел на свой плот, принайтовленный к палубе.

16 мая мы вошли в док Кальяо. Вечером плот спустили на воду. На следующий день буксир компании "Грейс Лайн" отвел его на военно-морскую базу. Перу тепло встретило нас с Тэдди. У нас было такое чувство, будто мы после девятилетнего отсутствия вернулись домой. Прежде всего я нанес визит начальнику военно-морской базы адмиралу Хуану Луису Крюгеру. Он был

очень любезен и обещал мне всяческое содействие. На следующий день Тэдди и я отправились к министру военно-морского флота.

— Сеньор Уиллис, — сказал он, — помните, Перу теперь ваш дом. Народ, правительство, военно-морская база — все мы в вашем распоряжении. Мы гордимся вами, гордимся тем, что девять лет назад вы отчалили от наших берегов и сейчас с этой же целью вернулись к нам. В 1954 году все Перу молилось, чтобы вы благополучно высадились на Самоа. Сейчас все Перу будет молиться, чтобы с Божьей помощью вы достигли Австралии.

Он говорил так дружелюбно, так тепло, что Тэдди смахнула слезинку.

Лима изменилась за те годы, что я ее не видел. Она переживала буйный расцвет. Появились магазины стандартных цен, магазины самообслуживания, улицы были запружены автомашинами, с трудом пробивавшимися сквозь пробки, повсюду царил сутолока большого города.

Мы сняли номера в "Гранд-отель Боливар", где жили в 1954 году, и каждое утро я отправлялся в Кальяо, находившийся в восьми милях от Лимы. Кальяо основал Пизаро. Его мумия покоится в соборе Плаца дес Армас в Лиме. Кинжал убийцы, лишившего жизни восьмидесятилетнего завоевателя, почти отделил голову от туловища.

Раньше дорога в Кальяо пролежала по открытой местности, между плантациями сахарного тростника и бананов и полями пшеницы, но сейчас по ее сторонам почти сплошной стеной стояли дома. Когда мы приблизились к порту, я, к своему великому изумлению, увидел из-за крыш домов высоко задранные носы рыбацких траулеров. Это были строившиеся суда водоизмещением около пятидесяти тонн, в основном металлические, хотя среди них попадались и

деревянные. В Кальяо произошло чудо. Раньше здесь можно было увидеть разве что несколько лодок с одним-двумя рыбаками, за последние же годы он стал крупнейшим рыболовецким портом мира. Пять тысяч траулеров каждое утро еще до зари выходили за мол и возвращались вечером, нагруженные до краев. Им не надо было слишком удаляться от берегов, чтобы забрасывать сети: богатое азотом течение Гумбольдта, берущее начало у берегов Антарктики, несет с собой, по-видимому, неисчерпаемые косяки анчоуса. Многие столетия им питались только морские птицы, особенно пеликаны. На обильной пище они размножились настолько, что покрыли своим пометом все прибрежные острова Перу и Чили, где находились их гнездовья. На островах выросли горы помета — его здесь называют гуано. Тысячи кораблей заполняли трюмы этим лучшим в мире удобрением и увозили в разные страны. Но вот мир стал испытывать острый недостаток продовольствия. Каждый день на свет появляются миллионы людей, их надо кормить. А здесь течение Гумбольдта дает пищу, рыбий жир и удобрение.

В военно-морских доках мой плот подняли из воды, и работа закипела. Прежде всего сняли железную каюту и заменили деревянной. Затем выковали и вделали в палубу швертовые колодцы [\[*\]](#). На палубу настлали бамбуковые маты, закрывавшие зазоры между досками, положенными через полтора дюйма, чтобы защитить меня от душей снизу. Каюту тоже обшили бамбуком — для защиты от дождя и брызг и для красоты. Последнее было очень важно. Плот почти целиком состоял из металла, и я знал, что в долгие месяцы одиночества мои глаза будут тосковать по бамбуку, банановым листьям, деревьям, которые напоминали бы мне о земле. Поэтому я положил на крышу каюты толстый слой банановых листьев. "Они помогут мне сохранить рассудок", — подумал я.

Без конца возникали какие-то новые дела, уходили неделя за неделей. Когда плот был приведен в порядок, пришлось всерьез заняться продовольственной проблемой. Надо было сделать запасы на восемь-девять месяцев плавания. Без помощи Тэдди я бы, конечно, не справился — с первого до последнего дня, начиная с Нью-Йорка, она брала на себя львиную долю всех хлопот.

Меня осаждали журналисты. Они не давали мне покоя ни днем в Кальяо, ни ночью в Лиме, желая узнать, что я делаю и когда собираюсь выйти в море. Меня называли *El Navegante Solitario* (Путешественник-одиночка). Это прозвище мне дали в 1954 году аргентинские газеты, еще когда я строил в Гуаякиле бальсовый плот. Сейчас очень немногие верили, что я достигну своей цели. В Кальяо заключали сотни пари. Большинство утверждало, что один человек не может обогнуть на плоту половину земного шара, от Южной Америки до Австралии, вынести жару и холод, зимние вьюги и летние штормы. Некоторые считали меня безумцем. Были, однако, и такие, кто хотел меня сопровождать, — кадровые офицеры, рядовые, рабочие военно-морской базы, знавшие меня с 1954 года. Среди них попадались энергичные люди с практической сметкой. Это, наверное, их предки строили первые галеоны и пересекали на них Тихий океан, доходя до самого Кораллового моря, за два века до того, как голландские, французские и английские суда обогнули мыс Доброй Надежды или, по следам Магеллана, Южную Америку и начали бороздить огромные водные пространства. Пока я работал на плоту, чуть не каждый день приходили смельчаки, желавшие разделить со мной опасности плавания. Им было непонятно, почему человек может хотеть отправиться в плавание один. "Это правда, что вам семьдесят лет?" — спрашивали они. Меня это не удивляло. Пятидесятилетние люди

считались в Перу стариками. Иногда я напрягал мускулы и давал пощупать моим доброжелателям. И все же они сомневались, что я один выстою против тягот плавания. Правда, вид у меня был неважный: сказалась изнурительная подготовка — четыре месяца в Нью-Йорке и два месяца в Кальяо.

Мне уже не терпелось выйти в море, слиться душой и телом с природой, чем бы ни угрожали мне небо и волны. Тогда я быстро приду в себя, но вот как Тэдди? Она долго болела в Нью-Йорке, да и здесь ее несколько раз мучили приступы лихорадки, она не выходила из-под наблюдения врачей. И все же продолжала работать, бегала без устали, выполняя тысячи моих мелких поручений. Что будет с ней, когда я уеду?

Я начал присматривать собачку — товарища для Кики, но это оказалось еще труднее, чем в Нью-Йорке. В Перу, даже в городах, распространены огромные псы, в основном овчарки, совершенно непригодные для плавания на плоту: я не мог заpastись провиантом и водой в нужном для такого пса количестве. Кики стала любимицей персонала нашей гостиницы и журналистов. Редкий день в газетах не появлялось фото: Кики в холле гостиницы или идет на поводке рядом со мной и Тэдди по Плаца Сан-Мартин. При виде ее ротозеи останавливались, тормозя поток пешеходов: уж очень она была не похожа на перуанских кошек. "Es un Tigre? — спрашивали нас часто. — Это тигр?" "Нет-нет, это всего лишь кошечка", — неизменно отвечала Тэдди, но ей не верили. Может быть, эти люди лучше чувствовали характер Кики. Мне же только через пять месяцев довелось увидеть, как спокойная Кики превратилась в комок ярости, доказав, что в ней действительно сидит тигр, а то и два.

Мы продолжали поиски. В Лиме у многих американцев были подходящие собаки, но хозяева не желали расстаться с ними. Повторялась одна и та же

история. Сначала мне сообщали: "У меня как раз такая собачка, какая вам нужна. Она любит воду, охотно играет с кошками" и т.д., и т.д. Я выслушивал перечень всех достоинств собаки, но когда уже считал ее почти своей и просил продать, слышал в ответ: "Мою собаку на плот? Ни за что! Я ночи не буду спать от страха, что с ней что-нибудь случится. Муж убьет меня! Да и как огорчить нашу дочурку — она привыкла спать с собачкой".

Наконец я решил взять еще одну кошку. У всех наших друзей-американцев были кошки, они, как известно, плодятся часто, и я был уверен, что уж тут-то не встречу трудностей. Кто-нибудь да расстанется со своим котенком! Ничуть не бывало. Кошки, говорили мне, не могут жить на плоту, они ненавидят воду. Лучше бы мне взять собаку! Жестоко брать на плот животное, которое скорее всего не перенесет путешествия. В 1954 году было то же самое. Когда разнесся слух, что я собираюсь взять с собой кошку, лимское отделение Общества защиты животных выразило протест, заявив, что безжалостно подвергать риску беззащитное существо. Поэтому Мики доставили на плот в самый последний момент — это был подарок от капитанов подводных лодок. Через несколько дней она стала лучшим четвероногим навигатором из всех виденных мной. Черная, без единого пятнышка, она стояла на палубе и с явным удовольствием принюхивалась к морскому воздуху, подымаясь и опускаясь вместе с плотом, как если бы была его неотъемлемой частью. А когда по ночам на палубу стали падать летучие рыбы, Мики была буквально на седьмом небе. Наша грациозная черная красавица до сих пор цела и невредима, живет в Лонг-Биче, штат Калифорния, и для своих десяти лет прекрасно сохранилась.

Наконец мы узнали, что около Кальяо есть гасиенда, где согласны продать котенка. Приятель отвез нас по

адресу. В доме, затерявшемся среди хлопковых плантаций и пшеничных полей, нас встретила целая кошачья семья. Глава семейства, черный как уголь разбойник, худощавый, длинноногий, с горящими глазами, казался исчадием ада. Мать была симпатичная серая с черными полосками и белым брюшком кошечка. Вокруг резвилось штук шесть котят, одни в папашу — черные дьяволята, другие — копии матери. Мы выбрали смиренного на вид котенка мужского пола, трех или четырех месяцев от роду, серого с белоснежными полосками, с пушистыми лапками и брюшком, и немедленно окрестили его Авси — в честь страны, куда мы направлялись. Все животные гасиенды, казалось, собрались провожать Авси. Нас обступили несколько лам, с полдюжины овец и свора диковатых собак с красными глазами. Осел безутешно кричал под соседним деревом, бык, выпучив глаза, терся о шаткую изгородь, а коричнево-белый козел, стройный, как фарфоровая статуэтка, уставился на нас с таким выражением, словно предвидел, что котенка, которого Тэдди держала на руках, ожидает мрачное будущее.

Но вот работа на плоту в основном закончилась, его снова спустили на воду и поставили на якорь на базе подводных лодок. На другой день состоялись крестины. На пристани собралась огромная толпа: на торжество съехались жители Лимы, офицеры с базы, члены военно-морской миссии США, сотрудники американского посольства... Тэдди подняла бутылку шампанского, фотографы навели аппараты.

— Нарекаю тебя "Возраст не помеха", — провозгласила Тэдди.

— Повтори по-испански, — прошептал я.

— Как это будет? Все время забываю...

— Edad Sin Limite.

— Edad Sin Limite! — воскликнула Тэдди. В ее произношении это прозвучало скорее по-китайски, чем

по-испански, но зато бутылку она бросила так ловко, что, ударившись о железный утлегарь, та разлетелась вдребезги, и перуанское шампанское брызнуло во все стороны. Зрители зааплодировали.

— Бутылка тяжелая, — сказала Тэдди, сияя. — Но, знаешь, бросая, я произнесла небольшую молитву.

— Да ну?

— В самом деле. Я сказала: "Пожалуйста, плот, доставь Билла в Австралию живым и невредимым".

Однажды, когда я возился на плоту, ко мне подошел элегантный моряк в полной военной форме. Он держал за руку мальчика лет девяти-десяти. Я сразу узнал этого человека. В 1954 году он был боцманом и командовал матросами, которые помогали мне строить плот.

— Мой сын, — сказал он с гордостью, когда мы обменялись рукопожатиями. — Родился в тот самый день, когда вы отплыли из Кальяо. Прихожу домой с базы, а жена держит его на руках. "Как мы его назовем?" — спрашивает. "Уильям Уиллис", — ответил я. "Ни за что! — закричала жена. — Не позволю! Твой Уильям Уиллис утонет вместе со своим плотом. Не хочу, чтобы моего ребенка называли его именем". Но я добился своего, я был уверен, что вы выдержите.

— Ну а как на этот раз? — осведомился я.

Он промолчал, избегая моего взгляда.

— На этот раз вы бы не назвали сына моим именем. Правда ведь?

Он снова ничего не ответил. Я засмеялся:

— До Австралии далеко, знаю, но я чувствую себя на десять лет моложе. Если замолвите словечко, я возьму вашего сынишку на плот.

Моряк улыбнулся и покачал головой.

На пристани стоял высокий человек аристократической внешности и наблюдал, как я работаю. Он не двигался, словно совершенно

поглощенный созерцанием того, что я делаю. Через полчаса я предложил ему спуститься на плот. Я был удивлен тем, как много он знает о плотях, и восхищен спокойной, исполненной достоинства осанкой и манерой говорить. Английского он не знал. Осмотрев плот, он показал на банановые листья, которые ветер шевелил на крыше каюты.

— Если вам нужны еще листья, я могу доставить.

— Не иначе как у вас гасиенда, — пошутил я.

— Да, сеньор, вы угадали.

— А овощи у вас есть?

Мне пора было уже заказать овощи для путешествия, но я еще не решил, где именно.

— Конечно, есть! — ответил он. — Я выращиваю их на продажу.

— Мне нужны картошка, лук, морковь и капуста.

— Этого добра хоть отбавляй.

— Я вам дам, конечно, рыночную цену.

Он улыбнулся и махнул рукой.

— Завтра все, что вам нужно, будет на палубе. Скажите только, сколько чего вы хотите.

Верный своему слову, рано утром он появился в порту на грузовике, заставленном корзинами с овощами, которых хватило бы на шесть человек. Все овощи были свежие, прямо с грядки, и, по-видимому, отборные. Корзины были неплотного плетения, воздух свободно проходил между прутьями, это имело большое значение. Когда я собрался заплатить, он улыбнулся:

— Вы доставите мне большое удовольствие, если примете подарок от человека, восхищенного вашим мужеством.

Когда припасы сгрузили на борт, я пригласил моего нового знакомого участвовать на следующий день в пробном рейсе. До сих пор предполагалось, что со мной будут только Тэдди и два брата — студенты Лимского университета, которые во многом нам помогли, да и

сейчас разыскивали почтового голубя. Гасьендеро, конечно, с радостью согласился.

Вечером он принес в гостиницу альбом. "La Balsa Siete Hermanitas" ("Плот "Семь сестричек") — стояло на обложке. Альбом был заполнен вырезками из лимских газет за 1954 год, когда я готовился на военно-морской базе к выходу в море. Еще не зная меня, он вырезал все сообщения о плоте, клеивал их в альбом и хранил десять лет. Он был помешан на плотах, настоящий одержимый. Этот спокойный человек страстно мечтал о путешествии на плоту. У него, сказал он, есть также альбом с вырезками об Эрике Бишопе — французском путешественнике, который дважды пытался с четырьмя товарищами пересечь Тихий океан на бамбуковом плоту. Возвращаясь из второго плавания, он погиб, напорвшись на риф у одного из северных островов Кука.

Вручив мне альбом, чтобы в свободное время я просмотрел его внимательно, наш гость сказал:

— Сеньор Уиллис, пожалуйста, напишите письмо министру военно-морского флота, иначе завтра никого, кроме вас, вашей жены и двух студентов, на плот не пустят. Так мне сообщили с базы. Дело в том, что флот не хочет нести ответственность, если что-нибудь случится. У нас, видите ли, правительство хунты, и ему приходится быть крайне осторожным из-за того, что печать раздувает каждое событие.

— Понимаю, понимаю, — сказал я, — но сейчас почти восемь часов вечера. Где вы в такой час найдете министра военно-морского флота?

— Он как раз обедает у моего брата. Я вручу письмо ему лично.

Я написал письмо, и он выбежал из комнаты. Час спустя он позвонил по телефону: министр разрешил ему присутствовать на плоту.

— Вы, наверное, написали что-то лестное для меня, — сказал он.

— Ничего особенного. Я просто написал, что вы единственный из всех известных мне людей, кого я выбрал бы своим спутником, если бы хотел его иметь.

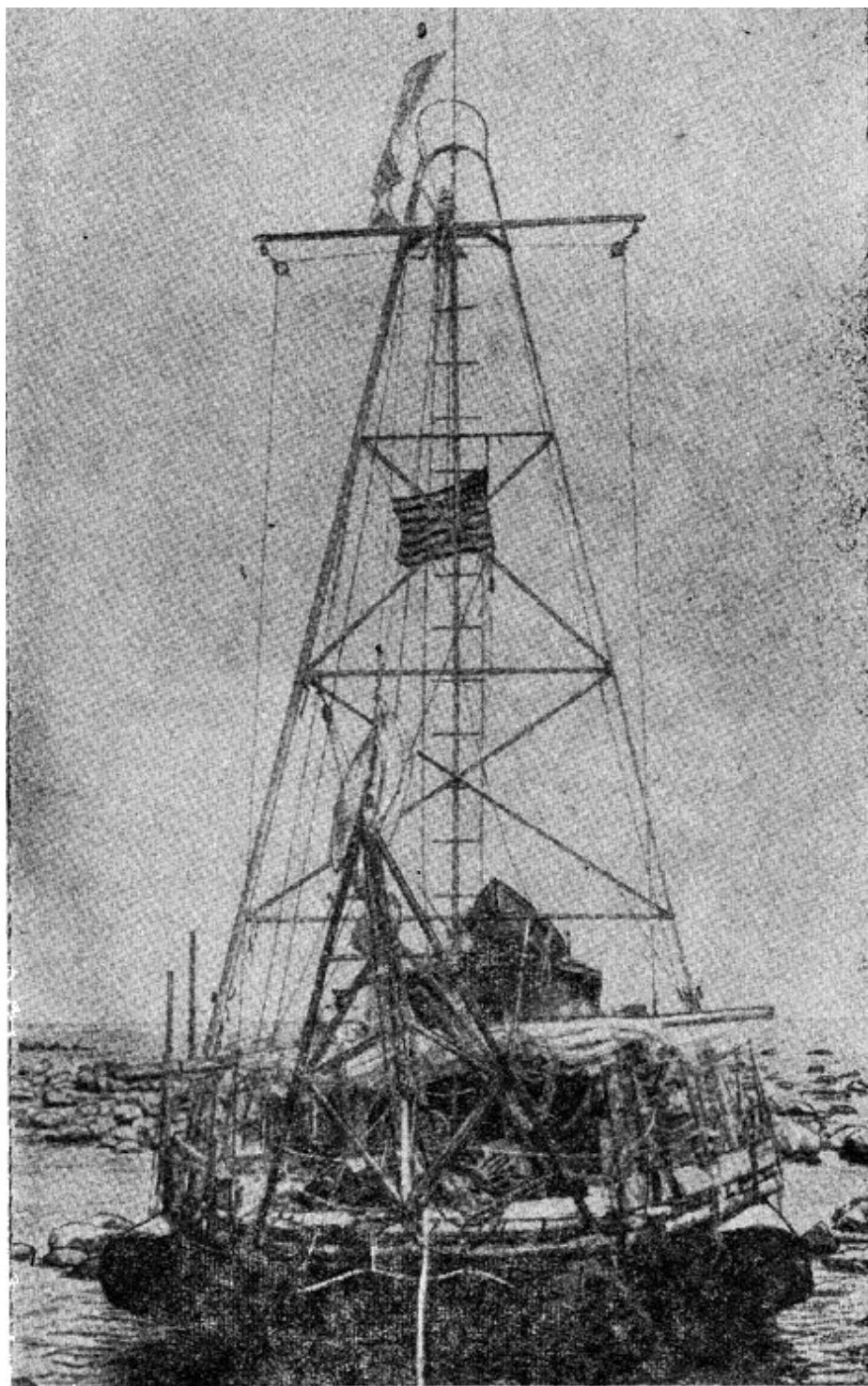
— Вы так написали! — воскликнул он. — Очень вам признателен! Я бы с радостью отдал свою гасиенду, лишь бы вы взяли меня с собой.

— Может быть, в следующий раз, — ответил я, смеясь.

— Пожалуйста, возьми его сейчас, — прошептала Тэдди. — Мне всегда хотелось иметь гасиенду.

Я представил себе, как мой знакомый стоит на берегу Испании, в то время как Колумб, Кортес или Пизаро ищут себе товарищей. И вот он выходит вперед — на голове у него шляпа с перьями, в руках шпага — и предлагает свои услуги.

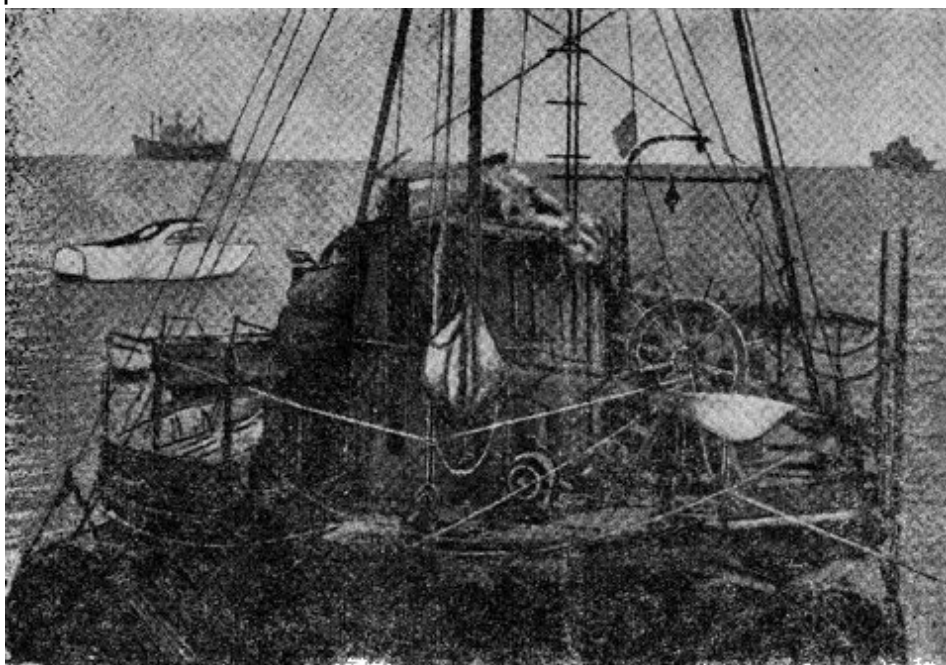
На следующий день проводился пробный рейс. Кроме плота, требовалось проверить компас. Это было очень важно — ведь плот почти целиком состоял из металла. Ко мне на борт спустились с рацией офицер с базы и матрос. Компас мой видал виды: с ним я плавал в 1954 году, с ним еще в 1948 году Тэдди и я чуть было не утонули на шлюпе "Всегда вместе", попав в ураган в районе Вест-Индии. Буксир отвел плот на двадцать миль от берега, но ветра не было и отсоединиться от буксира не имело смысла. Зато такая погода благоприятствовала проверке компаса. Буксир медленно сделал три круга, по миле каждый, все время сообщая по рации показания своего компаса. Офицер, стоя над моим компасом, записывал его показания. Результаты свели в график и передали его мне. Компас работал почти безупречно, девиация [*] была столь незначительна, что ею можно было пренебречь.



«Возраст не помеха».

Лежа в постели, я прислушивался к затрудненному дыханию Тэдди. Вот уже больше двух недель она

простужена, но каждый день выходит, несмотря на туманную сырую погоду, и пробегает по улицам и магазинам целые мили, чтобы достать мне все необходимое. Лима находится к югу от экватора, в июне здесь середина зимы. При нас в Перу не было ни одного солнечного дня, да и в Нью-Йорке зима выдалась затяжная и на редкость суровая. Что будет с Тэдди после моего отъезда? Лишь бы она не очень волновалась. Пока Тэдди держалась молодцом. "Скорей бы ты уехал, я бы сразу поправилась, — твердила она. — Поеду в горы, позагораю... Буду просто лежать и впитывать в себя солнце. Но ты так долго собираешься!" Она может совсем свалиться, как только я уеду. Я перегнулся к Тэдди и пощупал ее пульс. Она во сне пошевелилась и повернулась ко мне, словно ожидая помощи.



Вид с кормы

Я поднялся и принялся шагать взад и вперед по комнате. За окнами темнела пропитанная сырým туманом узкая мрачная улица. Я уеду на шесть, семь,

может быть, даже восемь месяцев и не буду знать, что с Тэдди. А она не будет знать, что со мной. На встречу с проходящим судном нет никакой надежды: мой маршрут, как и в 1954 году, пролегает в стороне от судоходных линий. Тэдди переутомилась. Может, взять ее с собой? Эта дикая мысль приходила мне в голову и раньше, но, помня о плавании 1954 года, я отказался от нее. Что, если у Тэдди посреди моря сдаст сердце? Может случиться все что угодно. Я себе никогда не простил бы...

— Не спится? — услышал я голос Тэдди.

— Я проснулся и решил немного походить.

— Пока ты на суше, тебе надо высыпаться.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Знаешь, что я сейчас видела во сне?

— Что?

— Плот в открытом море — один-одинешенек, очень далеко от земли. Все вокруг залито солнцем, и я разговариваю с тобой. Мне было так приятно на солнышке.

— А где же была ты?

— На плоту. Только мне это приснилось, и я тут же открыла глаза.

Я взял с ночного столика лекарства от кашля и дал Тэдди.

— Знаешь, Тэдди, мне пришла в голову прекрасная мысль. И, по-моему, подсказала ее мне ты. Ты слышала о телепатии?

— Да, но в самых общих чертах.

— А ты заметила, как часто мы читаем мысли друг друга?

— Да, каждый день.

— Если бы мы могли так общаться, пока я буду в море!

— Это было бы замечательно!

— Мне важно только знать, что ты здорова. Это единственное, что меня беспокоит.

— Я-то буду здорова, а вот ты? Я волнуюсь за тебя.

— Надо, Тэдди, попробовать...

— ...передавать мысли на расстоянии?

— Да.

— За тысячи миль?

— Расстояние не имеет значения. Расстояние — ничто для электричества, а тем более для мысли. Мысль движется быстрее всего, и к тому же мысль — нечто материальное, как электричество. Это бесспорный факт. Самое главное — знать, как его использовать.

— Идея великолепная, если бы только ее можно было осуществить. Но как? Как? — Тэдди снова легла. — Ума не приложу. Но обо мне не беспокойся, я поправлюсь в два счета. Солнышка бы немножко! А теперь ложись спать.

Я оделся и, пройдя коридор, по широкой мраморной лестнице спустился в холл. Было начало шестого. В холле работа уже шла вовсю: уборщицы, скатав толстый красный ковер, пылесосили, мыли пол, двигали столы и стулья. На улице шел мелкий дождь, и статуя святого Мартина на площади перед гостиницей казалась в темноте одинокой и заброшенной. Ах, думал я, шагая вокруг монумента, если бы удалось осуществить мою идею! Люди всех рас, находящиеся на разных ступенях развития, тысячелетиями пользуются телепатией. Я читал, что йоги, опираясь на данные науки, занимаются телепатией ночью, когда все спокойно. Расстояние не имеет значения. Это известно всем примитивным племенам. Обычно телепатия была монополией знахарей и священнослужителей, но и любой человек в определенных обстоятельствах способен читать чужие мысли. Мы с Тэдди можем привести сотни примеров телепатической связи между нами, но мы никогда не придавали ей значения, считая ее явлением

естественным. Без телепатии мое путешествие станет сущей пыткой: месяц за месяцем никаких известий от Тэдди. И она окажется в таком же положении. Я-то по крайней мере буду занят. Я вернулся в гостиницу, выпил чашку растворимого кофе, съел апельсин и поехал на такси в Кальяо.

Весь день я не переставал думать об одном и том же. Не только метафизика, но и наука признает телепатию, как признает предсказания, ясновидение, гипнотизм, месмеризм и аналогичные явления, делая лишь оговорку, что невежественные люди их извращают. Эти явления относятся к области точных наук и подчиняются законам типа дважды два — четыре, в них не больше чудесного и таинственного, чем в том, что яблоко падает с дерева. Но надо уметь использовать их — только тогда можно достигнуть желаемых результатов. Надо, конечно, успокоиться, сосредоточиться. Но можно ли по-настоящему успокоиться при нашем напряженном темпе жизни? Да и как сосредоточиться на мысли дольше одной секунды? Надо уметь. Может быть, я смогу научиться. Во всяком случае, я попытаюсь. Тэдди будет восприимчива к моим мыслям, в этом я не сомневался. Все зависит от меня. Римляне, греки, египтяне, древние персы — все практиковали телепатию, рассказами о ней полна Библия. Они верили в прорицания, предсказания будущего, без них и шагу не делали. Если бы здесь был служитель культа с Гаити или какой-нибудь йог, он бы уж помог мне. В джунглях Южной Америки тоже сколько угодно колдунов.

Днем я вернулся в Лиму и зашел на почтамт проштемпелевать несколько конвертов, которые я отвезу в Австралию. Первая в мире трансокеанская почта, доставленная путешественником-одиночкой на плоту! В 1954 году я вез на "Семи сестричках"

двенадцать писем, увековечивших мое путешествие из
Кальяо в Паго-Паго на островах Самоа.

На пирсе базы столпились зрители. Палубы судов казались синими от матросских блуз. В Кальяо съехались послы, консулы, представители различных посольств, офицеры военно-морской миссии США, помогавшие мне с самого первого дня моего пребывания там. В 2.30 пополудни я снялся с якоря. Это было 4 июля 1963 года.

Катер подвел меня к "Риосу" — буксиру, который выводил плот в пробный рейс. Трое матросов — один с рацией — спрыгнули с его борта ко мне на палубу и закрепили буксирный трос. Они останутся со мной до завтрашнего утра, пока милях в пятидесяти от берега я не отдам буксир.

"Риос" тронулся. Сначала он двигался очень медленно — гавань была забита лодками. Все суда подняли в мою честь флаги и включили пароходные гудки. Кальяо, старейший порт западного побережья Америки, прощался со мной.

Я стоял у штурвала. Плот бороздил серую воду залива. Возвращались с уловом лодки, и рыбаки в плащах махали мне рукой. Небольшие шлюпки плыли за мной следом, чтобы последний раз взглянуть на мое странное сооружение и не менее, может быть, странного *Navegante Solitario*. Нависшие низко тучи почти касались топа моей грот-мачты, воздух был пропитан сыростью, дул резкий холодный ветер. Меня не радовало, что я наконец приступил к эксперименту, доказывающему, что я победил старость. Перед моими глазами маячил образ Тэдди, стоящей на пирсе меньше чем в полумиле от меня. Ее маленькая хрупкая фигурка сжалась под порывами ветра, она размахивает платком, а лицо ее мокро от слез.

— О Билл, — сказала она при прощании, — не пообедать ли мне сегодня с Делл? Она очень просила. После обеда мы поедем в гостиницу, она проведет со мной весь день, а ночевать я поеду к ней, чтобы не оставаться одной. Как ты думаешь? Мне, собственно, не хочется сегодня никого видеть. Я бы поехала прямо в гостиницу и...

Она сморщилась, стараясь подавить слезы.

— ...и плакала, уткнувшись в подушку. Так и сделай, Тэдди, — сказал я. — Но не забудь, что я все время с тобой. Ты знаешь, что я имею в виду.

Мы вышли в открытое море. Впереди переваливался буксир, казавшийся с плота чуть ли не линкором. Небо и море слились в серую плотную массу, дальше чем за милю уже ничего не было видно. Шли часы. Когда стемнело, я прошел вперед и привязал к утлегарю фонарь. Корма "Риоса" уже была ярко освещена. Наступила ночь. Трое матросов улеглись впереди на палубе, завернувшись в бушлаты и одеяла. Я сидел на корме у штурвала, положив голову на колени.

Итак, я наконец плыву в Австралию. Накануне я оформил отход в Сидней. Вдруг я очнулся от полудремы, в которую было погружился. Плот сильно встряхнуло и подняло в воздух. Несколько страшных секунд он находился в этом положении, а затем начал падать обратно в море, которое как бы отступило назад. Видимо, произошла какая-то катастрофа! Небо и море раскололись на мельчайшие частицы. Плот прекратил падать и снова полез вверх, выше, еще выше! Ветра не было, на море стояла странная тишина. Я посмотрел на "Риос". Он был далеко-далеко под нами, словно бы на самом дне океана. Матросы, бледные как смерть, цеплялись за палубу. Мы еще несколько раз поднимались, хотя и не так высоко. Когда странное волнение прекратилось, я проверил, цел ли буксирный канат. Все было в порядке.

Немного спустя взволнованный голос осведомился по радио, как мы себя чувствуем. Оказалось, что мы попали в волну, вызванную землетрясением, эпицентр которого находился точно под нами. В Лиме и Кальяо ощущался сильный толчок. Жители выскочили на улицу, опасаясь, как бы второй, более сильный толчок не разрушил дома. Несколько лет назад здесь же произошло землетрясение, которое сровняло с землей города и селения на протяжении многих миль. Это была одна из самых больших катастроф в истории Перу. На сей раз толчки, к счастью, не повторились и город не пострадал. Тэдди тоже, в этом я не сомневался, но хорошо представил себе, как она забеспокоится, узнав, что плот находился точно над эпицентром землетрясения. Нам сообщили также, что "Риосу" пришлось туго: он чуть было не перевернулся. Толчки начались ровно в четверть первого ночи.

Ночь почти незаметно сменилась предрассветными сумерками. Матросы спали, завернувшись с головой в одеяла: ночной воздух на побережье вреден для легких. Море вздымалось и падало с монотонной регулярностью. "Риос", неуклюжая громадина со множеством колонок и подъемных стрел, двигался вперед, выпуская черные клубы дыма. Вскоре мой плот отвяжут, я останусь один и пойду в Австралию. Или все это привиделось мне во сне? Мир поверил мне, и вот я на плоту, в компании двух кошек, с запасом воды и продовольствия.

Я начал вспоминать свое раннее детство, а затем обратился мыслью к событиям, происходившим до появления на свет меня и даже моих предков. Долго странствовал я таким образом по доисторической Европе и Азии и под конец сказал себе и, как бы в оправдание своих поступков, людям: "Если я безумец, то и вы безумцы. Но это не безумие, это мечта, требующая своего воплощения. Мы в этом мире все мечтали, и мечты у нас у всех — и глупые, и разумные —

одинаковые, но лишь немногим смельчакам дано их осуществить или погибнуть при этой попытке. Тэдди понимает меня, а это главное".

Позднее в поисках хоть какого-нибудь убежища от пронизывающего сырого ветра и брызг матросы и я прижались к каюте.

— *Mal tiempo*, — сказал один, глядя вперед.

Помолчали.

— Плохое время года, — проронил второй по-английски.

Все трое испытующе взглянули на меня. Никак они не могли понять, почему я хочу плыть один.

— Я должен был выйти полтора месяца назад, — заметил я.

— Вас застигнут штормы, — сказал второй.

Я кивнул, думая о западной части Тихого океана.

— *Es nada*, — сказал я. — Так надо. Моряк выходит в море, будут штормы или нет, один или с товарищами. *Así la vida*. Такова жизнь.

"Старик спятил", — прочел я в их глазах.

Через час, в половине девятого утра, "Риос" остановился, и плот начал медленно к нему приближаться. На корме судна столпились фотографы и корреспонденты лимских газет.

Плот был уже ярдах в десяти от тяжело вздымавшегося корпуса судна, и я забеспокоился: если мы столкнемся с ним, беды не миновать — утлегарь погнетса или сломается. Предвидя это, я еще в Кальяо договорился с капитаном "Риоса", что он спустит за матросами шлюпку. Теперь я кричал ему, но на палубе никто не двигался с места. И вот плот ударился о корпус! Капитан спокойно созерцал все происходившее с мостика.

— Капитан! — заорал я во всю силу своих легких. — Еще один удар, и вам придется отвести меня в Кальяо

для капитального ремонта! Все представители печати видят, что вы делаете!

Это возымело действие. "Риос" оторвался от плота, хотя тот успел еще несколько раз стукнуться о его борт, и спустил шлюпку. Мы отдали буксирный трос, матросы прыгнули в шлюпку, и ее подтянули к судну. Я остался один. Я поднял грот и бизань и взялся за штурвал. "Риос" сделал поворот оверштаг и отработал задний ход, чтобы журналисты и матросы могли сделать последние снимки. Море огласилось прощальными приветствиями. Протяжный гудок долго висел в воздухе и наконец замер вдали.

— Adios, amigos! — кричал я навстречу ветру.

"Риос" пошел обратно в Кальяо.

Волны стали намного больше, море покрылось белыми барашками. Тяжелые тучи заволокли небо. Плот несся как одержимый. Он сидел в воде слишком низко, и я выбросил за борт несколько лишних мешков с овощами, но это мало помогло, и вода продолжала заливать палубу. Под вечер я спустил грот, поднял кливер и взял рифы [*] на бизани. Кики то и дело принималась мяукать, а когда качка усиливалась, умоляюще смотрела на меня. Она, несомненно, просила отнести ее к Тэдди. Авси нашел себе убежище под мешками с провизией и лежал там с закрытыми глазами, но весь напружинившись. Только два почтовых голубя чувствовали себя вполне уютно в деревянной клетке, стоявшей в каюте, и, видимо, не возражали против морской прогулки. Они то клевали зернышки, то запивали их водой. Завтра — так я обещал хозяину голубей — я открою клетку и выпущу птиц на волю: голубка высидивала яйца и не могла долго отсутствовать.

Запись в вахтенном журнале 8 июля 1963 года

Счислимое место

*11° южной широты
79° западной долготы
Курс норд-вест*

Небо затянуто тучами. Волнение значительное. Ветер зюйд-ост. Продвигаемся с трудом. На палубе нельзя стоять, не держась за что-нибудь. Между досками и сквозь бамбуковый настил просачивается вода. Только благодаря тому, что в Кальяо я обшил палубу бамбуком, плот в такую погоду не покрывается водой полностью. В 7 часов утра температура воздуха была 60° [4]. Солнце еще ни разу не показывалось.

Кики и Авси два дня ничего не ели, но теперь чувствуют себя хорошо. Я привязал четвероногих путешественников, чтобы их не смыло за борт. Они ничуть не боятся моря и часто стоят, положив лапы на фальшборт, и смотрят на проносящуюся мимо пену, которая чуть ли не касается их носов. При виде большой волны они моментально отскакивают в сторону. Бывает, что волна окатывает кошек с головы до ног, но они не выказывают недовольства.

Накануне через два часа после захода солнца я передал первое свое сообщение с указанием координат плота. Если его примут, Тэдди узнает, что все в порядке. Чтобы привести рацию в действие, надо повернуть две рукоятки, включающие генератор, затем одной рукой крутить ручку, а другой — выстукивать сообщение. Не имея опыта в этом деле, я на первых порах записывал текст на листе бумаги в вертикальном положении — на каждой строке по букве, а рядом ставил ее обозначение по азбуке Морзе. Мне не доставало второго человека, который бы вертел ручку аппарата. Позывные мои были "Сальвита III", передавал я на волне 8364 килогерц.

Хотя я не испытывал недостатка в свежих овощах и фруктах, на ужин я приготовил насыщенную противоцинготную смесь собственного изобретения —

тертую сырую картошку с мелко нарубленным луком и лимонным соком, а для сытости съел еще банку бобов.

Плот двигался медленнее, чем я предполагал. Значит, путешествие мое затянется. Чтобы пройти около двенадцати тысяч миль, мне потребуется не меньше шести — восьми месяцев.

Я решил не бриться. Мои щеки покрылись колючей седой щетиной, напомнившей, что я постарел с тех пор, как последний раз отпустил бороду. Это было в 1924 году на Аляске. Я ловил там лосося, искал золото. Тогда Аляска была краем пионеров, там оставался кое-кто из старожилов 1898 года. Клондайкская знаменитость, отцветшая красавица Анни, еще жила в Джуно, в конце улицы, подымавшейся в гору. Девушки поговаривали, что она была не первой молодости уже тогда, когда покинула Сан-Франциско, чтобы попытать счастья на Севере.

Кики меня удивляла. Она, казалось, без всякого страха становилась передними лапками на самый край плота, перегибалась вперед и пристально вглядывалась в пенистые волны, медленно помахивая кончиком хвоста, как если бы выслеживала в воде добычу. Когда я впервые увидел ее за прутьями клетки в зоомагазине, я и не предполагал, что она так быстро приспособится к невгодам жизни на плоту. А Тэдди, расставаясь со своей любимицей, плакала.

— Привези ее обратно во что бы то ни стало, — сказала она. — Будь с ней ласков. Не забывай разговаривать с ней, как бы ты ни был занят. Гладь ее, чтобы она мурлыкала, всегда проверяй, влажный ли у нее нос. Ни у одной кошки я не видела такого чуткого и влажного носика, пусть он таким и останется.

Запись в вахтенном журнале 10 июля 1963 года

Счислимое место

10°45' южной широты

80°11' западной долготы

Курс норд-вест

Солнца нет, и я продолжаю идти по счислению. Утром нашел среди банановых листьев на крыше каюты нырка. Он спал, но когда я приблизился, лениво открыл один глаз, а затем снова закрыл. Судя по тому, как переверошены листья, он провел на крыше всю ночь. Может быть, он принял плот за судно с перуанским гуано.

После выхода из Кальяо я спал мало, но чувствую себя хорошо.

Я преодолевал трудности одну за другой, и это наполняло меня сознанием своей силы. Волны, окружавшие плот со всех сторон до самого горизонта, смывали мелкие житейские заботы. Значит, природа приняла меня и я снова свыкся с жизнью на плоту и с одиночеством. Закончился переходный период от жизни на суше, с которой я не расставался почти десять лет, к жизни на плоту. Теперь только Тэдди меня беспокоила.

Перед выходом из Кальяо я поднял на мачте американский флаг и долго не снимал его: мне было приятно смотреть на яркую ткань, полощущуюся по ветру. Теперь я спустил флаг, аккуратно сложил и спрятал в чемодан вместе с одеждой. Этот же флаг развевался на мачте "Семи сестричек". После того как я возвратился с островов Самоа, он лежал на складе в сундуке вместе с секстантом, компасом и фотоаппаратом. Почти все наши ценные вещи хранились на складах в разных концах страны, и Тэдди иногда вздыхала: "Неужели у нас никогда не будет своего дома?" На что я неизменно отвечал: "Запомни, последний гвоздь, который мужчина вбивает в свой дом, это первый гвоздь в гроб его и жены. А мы ведь еще не собираемся умирать!"

Запись в вахтенном журнале 12 июля 1963 года

Счислимое место

9°03' южной широты

80°35' западной долготы

Курс норд-вест-тень-вест

Ночью поднялось волнение, порывы ветра достигали штормовой силы. Утром ветер не стих. Небо сплошь затянуто тучами. Самая плохая погода за все время. Температура ночью упала до 59 градусов.

Я никак не мог привыкнуть к толчкам и качке на плоту. Его непрекращающиеся резкие движения совершенно не походили на качку на судне, и я с большим трудом удерживал равновесие. Чтобы пройти по палубе, требовалась ловкость акробата.

Куда легче и приятнее плавать на судне с косым парусным вооружением! Там главное — набраться терпения и в кокпите или в каюте "высидеть" волнение. Поднимать и опускать паруса, брать рифы, рулить — одним словом, почти все, что надо, можно делать, сидя в кокпите. Правильно построенное и оснащенное судно нередко идет само по курсу одну, две и даже три тысячи миль. Кроме того, сейчас изобретен авторулевой, еще больше облегчающий задачу одинокого путешественника или немногочисленной команды. На плоту же с прямым парусным вооружением нужно управлять шкотами, галсами и брасами, править можно только стоя, так как для того, чтобы повернуть штурвал, нужно приложить значительное усилие, что невозможно сделать в сидячем положении. По этой же причине авторулевой совершенно непригоден для плотов такого рода.

Я, конечно, знал, что на плоту с прямым парусным вооружением должны плыть три-четыре человека, но в 1954 году я не послушал опытных моряков — один совершил на "Семи сестричках" рекордное плавание

через Тихий океан и сейчас решил повторить этот опыт. В таком плавании моя выносливость, трудолюбие, ловкость и сообразительность будут подвергаться испытанию с того самого момента, как я выйду в море, и до тех пор, пока не брошу якорь. Много дней и недель мне придется спать крайне мало или — в зависимости от погоды — вовсе бодрствовать, часто я буду вынужден довольствоваться поспешно проглоченной банкой супа.

Команда "Кон-Тики" состояла из шести человек. Французский мореплаватель Эрик де Бишоп в оба свои путешествия на плоту с прямым парусным вооружением брал четырех человек, что давало ему возможность разделить день на три вахты. Древние перуанцы тоже отваживались плавать на плотках вдоль побережья Южной Америки лишь с многочисленной командой.

Едва только замыслив построить новый плот, я решил дать ему имя "Возраст не помеха". Такое название лучше всего показывало, что я возродился и снова чувствую себя совершенно здоровым. Почему я отправился в плавание один? Этот вопрос мне задавали много раз. С моей точки зрения, все трудности путешествия как раз и заключаются в одиночестве со всеми из него вытекающими последствиями. Только когда человек один, когда он может рассчитывать лишь на себя и ему неоткуда ждать помощи, каждая частица его тела, мозга и души подвергается испытанию. Взять с собой одного или нескольких человек значило бы превратить путешествие в самое обычное и даже скучное предприятие. Я собирался аккуратно записывать все показатели моего физического и морального состояния, чтобы привезти с собой ценные данные не только для людей старшего поколения, но и для тех, кто находится в расцвете сил, прежде всего для молодежи, здоровье которой внушает последнее время весьма серьезные опасения.

Запись в вахтенном журнале 14 июля 1963 года

Счислимое место

8°40' южной широты

83°42' западной долготы

Курс норд-вест

Обнаружил трещины в обоих моих рулях, в местах, где перо руля сварено с баллером []. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что два стержня, образующие баллеры рулей, представляют собой полые трубки, а не литые, как я предполагал. Серьезная неприятность, у меня ведь нет ни инструментов, ни материалов для ремонта. Да и что можно сделать, пока плот на воде и волны непрестанно перекатываются через корму! От Кальяо меня отделяют пятьсот или шестьсот миль, о том, чтобы возвратиться, плывя против течения и ветра, не может быть и речи. Ближайшая земля — Пунта-Агуа — в двухстах двадцати пяти милях к северо-северо-востоку.*

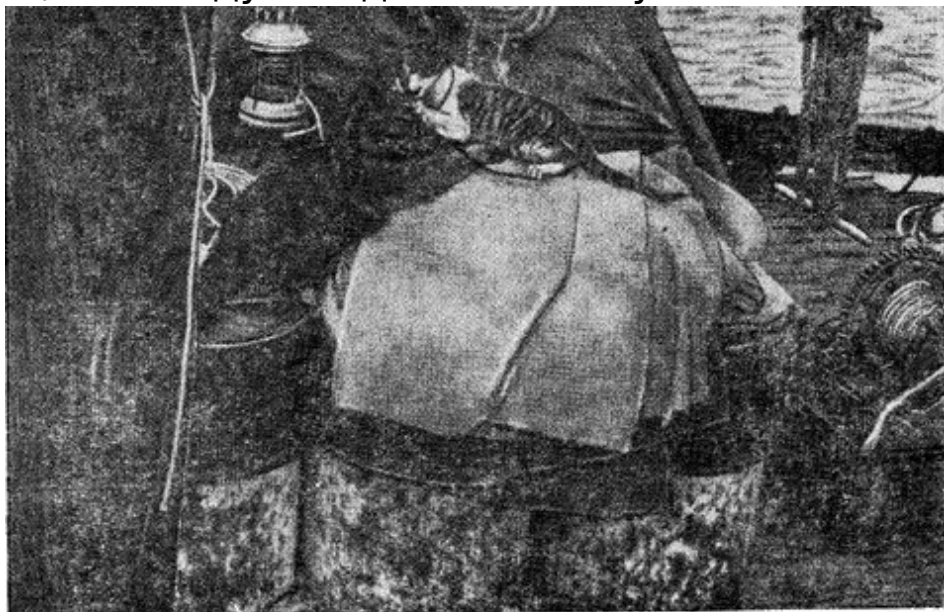
Я старался есть побольше, чтобы поддержать силы. Вечером уничтожил две банки вареных бобов, пятнадцать или шестнадцать бананов, две банки сгущенного молока — и все же не наелся. По-прежнему штормило, и плот швыряло и подбрасывало на волнах, как пустой барабан, привязанный к пароходу. Брызги летели такие, что грот до половины хоть выжимай. Солнце еще не показывалось, и я вел плот по счислению. Целый день приходилось возиться с различными снастями, и под вечер мне казалось, что руки выворачиваются из суставов.

Запись в вахтенном журнале 15 июля 1963 года

Подумав, я решил зайти в Гуаякиль и починить рули или поставить новые. Может быть, если найдутся бревна, я даже построю себе бальсовый плот: я не

очень-то доволен своим тримараном. Взял курс на северо-восток, к побережью Эквадора.

Я вздремнул было у штурвала, но меня разбудила Кики. Я уже давно не привязываю ее, и тут она вдруг начала носиться по плоту, словно одержимая, вбегала в каюту, выскакивала обратно, делала какие-то фантастические прыжки, чтобы вскочить на крышу. Может, на плот забралось какое-нибудь морское чудовище и преследует Кики? Я включил фонарик и в это время услышал шумные всплески и громкое сопение рядом с плотом. Море кишело дельфинами, и в фосфоресцирующей воде их тела были отчетливо видны. Вот, оказывается, в чем было дело! Кики все дни напролет смотрела в море, но ни разу не заметила ничего страшного, теперь же она не иначе как решила, что дельфины утащат ее на дно морское. Авси, наоборот, сидел на своей привязи совершенно спокойно и наблюдал за дельфинами явно без всякого интереса. Он вырос в Кальяо на открытом воздухе и привык к ревушим быкам, кричащим ослам, к козлам, овцам, собакам, к их виду и издаваемым звукам.



Кики и Авси.

Накануне ночью пошел дождь. Я поспешно смастерил из листа гофрированного железа, оставшегося от крыши каюты, желоб, но воды собрал очень мало. Утром я ее вскипятил и сварил суп — первый после выхода в море. Потом я связал мою грязную одежду в узел и на несколько часов опустил в море. Вещи, побывавшие хоть раз в морской воде, пропитываются солью и никогда не высыхают до конца, хоть суши их на солнце весь день напролет. Ночью же они становятся сыроватыми, почти влажными.

Плот равномерно переваливался с борта на борт. Его края ударялись о поверхность воды с такой силой, что, казалось, мачты вот-вот выскочат из гнезд и полетят в море. Движение в одну сторону неизменно заканчивалось толчком, сотрясавшим весь плот и заставлявшим меня удивляться, как это он еще не развалился на куски. Качка напомнила мне, как я, еще мальчишкой, огибал на "Генриетте" мыс Горн. Много дней подряд нас мучила бортовая качка, и улежать в койках, привязанных в продольном направлении, было очень трудно.

— А ты, прежде чем ложиться, прибай свои сапоги к переборке, — посоветовал мне один матрос. — Ляжешь, всунешь в них ноги, и уж тогда никуда не вывалишься.

— А если будут свистать всех наверх? — спросил я робко.

— Ну, скажешь боцману, чтобы он немного подождал.

Только тогда я понял, что он шутит. Попробовал бы я через десять секунд после свистка не выскочить на палубу! Боцман с концом или со шкворнем в руке влетел бы в помещение для команды и выволок бы меня наверх за голову или за ногу!

Запись в вахтенном журнале 16 июля 1963 года

7°10' южной широты
84°38' западной долготы
220 миль от Пунта-Агуа

Сегодня днем выглянуло солнце. Гуаякиль исключается — ветер, высокие волны и течение Гумбольдта отнесли меня на север. Если так и дальше пойдет, я, скорее всего, окажусь у Галапагосского архипелага и северные течения погонят меня между его островами, на север от экватора, в мертвые воды, откуда мне не удастся выскочить. Остается только взять прежний курс, следить за рулями и, может быть, как-нибудь их починить. После того как я миную Галапагосы, до Маркизских островов останется три тысячи миль, и если положение станет совсем отчаянным, придется высадиться на Маркизах.

Произошло еще одно несчастье: перестала работать рация. Правда, я не возлагал на нее слишком больших надежд — мне с самого начала казалось, что ее в Кальяо не очень хорошо отрегулировали. В Нью-Джерси радисты фирмы "Маркони" настроили ее великолепно, но даже при идеальных условиях радиус ее действия не превышал пятисот миль, поэтому Тэдди не ждала от меня сообщений. Я сидел на корме у штурвала и слушал, как море бьется о плот. Полночь давно миновала. Штурвал резко вздрагивал при каждом ударе волн о рули. Рано или поздно они сломаются. Я смотрел в темноту, на черное небо и почти угольно-черное море, и вспоминал, как почти десять лет назад этим же курсом шли "Семь сестричек". Вспоминал, как, раздираемый невыносимой болью в низу живота, я лежал на палубе, как, оставшись почти без воды, умолял безоблачное небо послать дождь, как держал над головой раненую руку, чтобы остановить кровотечение, и в конце концов сам зашил поврежденную артерию. Все это я перенес и, плывя один, пережил одни из самых счастливых часов в

моей жизни. Так будет и сейчас, что бы ни случилось. Как рули — не знаю, но я-то выдержу, в этом я не сомневался.

Того, кто хоть раз отправлялся один в плавание по морю, всегда будет одолевать желание еще раз испытать это чувство умиротворения. Но одного желания мало. Это состояние покоя надо выстрадать, каждый день, каждую минуту преодолевая тоску по себе подобным, и прежде всего по близким — отцу, матери, жене, ребенку... Узы крови связывают человека во времени и пространстве, разрывая их, он испытывает мучительную боль и чувствует себя совершенно беззащитным. В конце концов, если у него сильная воля, он проникнется торжественностью молчания и взглянет на себя со стороны. Если он при этом испугается своего ничтожества, он станет звать на помощь и будет кричать, пока не сойдет с ума. Значит, испытание оказалось ему не под силу.

Море по-прежнему было бурным, вода проходила сквозь бамбуковый настил, как сквозь сито. Вокруг летали птицы, несомненно гнездившиеся на Галапагосских островах. Они то скользили бесшумно над морем, то вдруг замирали и стрелой кидались вниз. Иногда они галдящей трепыхающейся стаей накидывались на что-то — с плота мне не было видно, на что, — может быть, на косяк анчоусов. Одни парили над волнами, подымаясь и опускаясь в такт с ними, припадали ко впадинам между гребнями и в самый последний миг взмывали вверх, спасаясь от наступающего вала. Другие металась в каком-то ликовании, словно охваченные экстазом при виде бушующего моря. Среди пернатых было много фрегатов, больших черных птиц с непомерно длинными узкими крыльями саблеобразной формы, делавшими их похожими на летающих пауков. Высмотрев добычу, они

взмывали вверх и парили там, напоминая пришпиленные к небу кресты, а потом, улучив момент, кидались на свою жертву.

Я много думал о Тэдди. Как-то она там, в Нью-Йорке? Живет, как обычно, а мыслями, наверное, здесь, со мной, в Тихом океане. К счастью, она очень трезвый человек, не склонный волноваться из-за пустяков, в приметы она не верит и, конечно, уже и не вспоминает о землетрясении. Надо мне сосредоточиться, чтобы, как я обещал, войти в контакт с ней, но волнение на море не прекращается ни днем, ни ночью, и под порывами ветра, когда море непрерывно грохочет о плот, трудно собраться с мыслями. Для этого нужна тихая ночь с ясным небом, безмолвная ночь, как выражаются поэты. Я был уверен, что, проявив настойчивость, каким-то образом почувствую ее близость, хотя это, конечно, ничего не докажет.

Стало тепло. Я разделся, вылил на голову ведро морской воды и помылся жесткой щеткой, которую Тэдди купила для того, чтобы скрести пол в каюте. Потом я вытянулся на палубе и подставил лучам солнца свое изголодавшееся по теплу тело. Но не тут-то было! Холодное течение Гумбольдта принесло из Антарктики с тонну ледяной воды, она перехлестнула через борт плота, подняла меня как ребенка и весьма бесцеремонно отшвырнула к стенке каюты.

На ужин я приготовил суп из овощей. Мелко-мелко порубил, чтобы они быстрее сварились, капусту, картошку, лук, морковь, положил несколько долек чесноку и немного тмину, не пожалел и красного стручкового перца. Добавить бы туда косточку от окорока — и получилось бы прямо-таки царское блюдо, но, рассчитывая на рыбу, я не взял с собой мясных консервов.

Значительная часть овощей уже испортилась, но лук и картошка еще были в хорошем состоянии. Особые надежды я возлагал на картошку — она и консервированный лимонный сок были главными моими противоцинготными средствами. Кроме того, я взял десять дюжин свежих лимонов, уложенных по перуанскому способу в опилки — так они могут лежать около месяца, и две кварты лимонного сока домашнего приготовления.

Вид коробок с провизией, нагроможденных в каюте, всякий раз напоминал мне о путешествии 1954 года. Я тогда питался в основном болтанкой из ржаной муки, которую употребляют в пищу индейцы в Андах. Впоследствии я узнал, что эту же муку и также в сыром виде едят тибетские монахи и носильщики в Гималаях.

Кроме муки, у меня была с собой шанкака — так индейцы Перу и Эквадора называют липкое вещество из сахара-сырца, содержащее естественную патоку. Этот скудный рацион дополнялся рыбой, но, к сожалению, последние три тысячи миль мне редко удавалось ее поймать.

Когда я покинул родной дом и попал на "Генриетту", в общество бородатых здоровенных ребят, с тяжелыми мускулистыми руками, жевавших во время работы табак и оравших песни, мне пришлось привыкать к совершенно новой пище. Три раза в неделю нам давали гороховый суп, а в остальные дни — фасолевый. Ложка в миске должна была стоять — иначе порцию с проклятиями возвращали коку, обещая в следующий раз наградить хорошим пинком. Три раза в неделю мы получали соленую говядину, три раза — соленую свинину, а по воскресеньям — мясные консервы. Ели мы фактически один раз в день, и порой я бывал так голоден, что готов был отрезать кусочек кожи от снасти и сжевать ее. Кроме густого супа, на обед давали картошку — если она еще не кончилась. Каждому выдавали одну-две штуки, сваренные в мундире. Утром, даже если мы всю ночь проработали на снастях, мы неизменно получали отвратительную гречневую кашу, до которой никто не дотрагивался, и, конечно, "бутерброды со шкворнем". Так назывались сухари за то, что разбить их можно было только молотком или шкворнем. Вечером иногда нас баловали пюре из остатков картошки и мяса с размолотыми сухарями и — если он был — с луком. Но пищи, по-видимому, хватало, никто не болел от недоедания, и она вполне подходила к нашему образу жизни. Судовладельцы, очевидно, исходили из идеи, что нас следует держать впроголодь, чтобы, исхудавшие, как волки зимой, мы могли хоть десять раз за вахту без труда вскарабкаться на бомбрам-стенгугу.

К полудню первого дня я почувствовал, что задыхаюсь, а голова моя тяжелеет. Тогда я выпил полкружки — приблизительно стакан — морской воды. Мне она не показалась противной — может быть, от сознания того, что она обладает незаменимыми целебными и питательными свойствами, и я решил пить ее каждый день. Пил я так: быстро выливал в рот содержимое кружки, а затем несколько раз делал вдох с открытым ртом, чтобы избавиться от горечи.

Чайки, кружившие вокруг плота, напомнили мне о голубях, которых я выпустил.

Долетели ли они до Кальяо? За час до назначенного времени я вынес клетку из каюты на палубу, чтобы птицы свыклись с воздухом и видом моря. Они были приучены курсировать вдоль побережья Перу, а над морем не летали еще ни разу. Ровно в девять часов утра, когда стало совсем светло, я прикрепил веревку к дверце клетки, взял киноаппарат и потянул за веревку. Одна птица вышла, подняла голову, осмотрелась, расправила крылья и взлетела. Вторая последовала за ней. Они летели рядом по направлению к земле, все время набирая высоту, затем вернулись и сделали два круга над плотом. После этого они взяли курс точно на восток, словно сверились по компасу и карте, и вскоре исчезли в облаках.

Кики и Авси наконец подружились. Авси и раньше не раз пытался приласкаться к Кики, надеясь, очевидно, что та заменит мать, с которой его так бесцеремонно разлучили, но Кики не выражала ни малейшего к тому желанья, а когда Авси становился навязчив, угрожающе ворчала. Теперь все изменилось. Накануне вечером, проверяя, все ли в порядке на палубе, я обнаружил кошек в пустом ящике. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, и Авси старался зарыться как можно глубже в густой мех Кики. Утром, однако, Кики покинула Авси, и бедняжка в одиночестве взирал весь день на

движущиеся мимо огромные волны и слушал, как они с грохотом ударяются о плот. Зато вечером Кики облизывала Авси, словно своего детеныша, и котенок явно чувствовал себя от счастья на седьмом небе.

Я тоже был доволен. Убрав палубу и проверив, свободны ли концы на случай надобности, я занял свое место у штурвала и по привычке, приобретенной еще на "Семи сестричках", запел старую песню. Когда мне надоело, я вытащил новенькую губную гармонику. Тэдди купила ее, чтобы я попробовал в плавании играть, хотя я никогда не брал этот инструмент в руки. Только я выжал из него нечто вроде мелодии, как плот чуть было не повернулся против ветра, и мне пришлось схватиться за штурвал. Но я умудрился одной рукой держать гармонику, а другой — направлять штурвал, зажав его между коленями. Устав играть, я снова запел, а потом пошел взглянуть на кошек. Они мирно лежали рядышком в ящике. Когда я осветил их фонарем, они приоткрыли сонные глаза и благосклонно выслушали мое сообщение, что все наладится, что жизнь на плоту не всегда будет такой тяжелой, что выглянет солнышко, согреет нас и кости наши оттают.

Ночь была холодной, то и дело начинался дождь и налетали сильные порывы ветра. Я долго стоял у штурвала, то опуская, то убирая шверты, чтобы заставить плот держаться нужного курса, замерз отчаянно и тут вспомнил, что, когда я в Кальяо отваливал от берега, подруга Тэдди в самый последний момент всунула мне бутылку, можно сказать, с риском для жизни: она так перегнулась, что чуть было не упала в воду. "Великолепный шотландский пунш, — сказала она, улыбаясь. — Береги на тот случай, когда в холодную ненастную ночь тебе станет совсем мерзко на душе. Но не забудь его нагреть, иначе аромат будет совсем не тот". Я решил, что обстановка вполне подходящая — ночь достаточно ненастная и холодная, и

раскупорил бутылку. Понюхав, я пришел к выводу, что можно обойтись без нагревания.

Утром, когда было уже почти совсем светло, я покормил Кики и Авси. Спали они в большой корзине, прикрепленной к передней стене каюты, где я хранил канаты и инструменты, но иногда я пускал Кики — она была очень чистенькая — в каюту. Только теперь избалованная кошечка, привыкшая к тому, что Тэдди приносила ей в салфетке объедки с нашего стола, начала с аппетитом есть консервы. Пока рыба не ловилась, мне больше нечего было ей предложить. Кики немного похудела и уже не была "gordo" (толстушка), как ее прозвали в Лиме журналисты и служащие гостиницы. Малыш Авси — всего четырех месяцев от роду — часто просил молока. Спал он много — в Кальяо он привык жить на открытом воздухе — и всегда находил щель, куда залезть. За Авси я был спокоен — этот не пропадет ни при каких обстоятельствах.

Запись в вахтенном журнале 29 июля 1963 года

3°06' южной широты

93°46' западной долготы

Курс вест-норд-вест

Я нахожусь примерно в ста восьмидесяти милях к юго-западу от Изабеллы, самого большого острова Галапагосского архипелага. Первая часть моего путешествия осталась позади — я удалился от побережья и пересек течение Гумбольдта, избежав тем самым опасности быть отнесенным к Галапагосам, где сильное северное течение могло бросить мой плот на скалы или отнести в совершенно безветренные воды за экватором.

За двадцать пять дней я прошел около тысячи четырехсот миль по зигзагообразному маршруту. Погода все это время была бурная, и, кроме того, много беспокойства доставляли мне рули. Я не раз чинил их, но

что толку? Нескончаемые удары волн разбивают их снова и снова. Хуже всего то, что при поломанных рулях очень трудно управлять штурвалом. Если налетит шторм, я окажусь в очень опасном положении. На худой конец, я, конечно, могу управлять с помощью только швертов и парусов, но при неповоротливости моего плота такой способ может оказаться ненадежным среди островов и атоллов Тихого океана. Во всяком случае, Галапагосы — важная веха на моем пути — пройдены, и как только ветер немного спадет и море успокоится, я пойду точно на запад. Больше недели меня сопровождала почти буря. Не зря ребята с базы предупреждали меня.

Совсем рядом с плотом корифена охотилась на летучую рыбу, так что я мог наблюдать каждое ее движение. Я всегда с удовольствием смотрел, как эти морские тигры длиной около пяти футов прорезают волны, оставляя за собой пенистую дорожку. Корифена — сама скорость и напористость, над ее непомерно длинной узкой головой, напоминающей по форме клинок топора судового плотника, то и дело взлетает выбрасываемая ею струя воды. Плоское туловище, с хвостом, разветвляющимся на две ровные части, похоже на пластины, отделенные от бревна. Летучая рыба — самая неуловимая добыча — часто делает на лету поворот на сто восемьдесят градусов, чтобы избавиться от преследования, но это не так просто и требует многочисленных пируэтов: корифена охотится с открытыми глазами и замечает, где на миг-другой садится летучая рыба, чтобы посушить свои крылья: иначе она не может взлететь. Вскоре несчастная рыба устает, взлеты ее становятся все короче, и в конце концов она попадает в пасть к преследователю. Он заглатывает ее с головы. Однажды я поймал корифену, в желудке которой нашел четырех пойманных незадолго

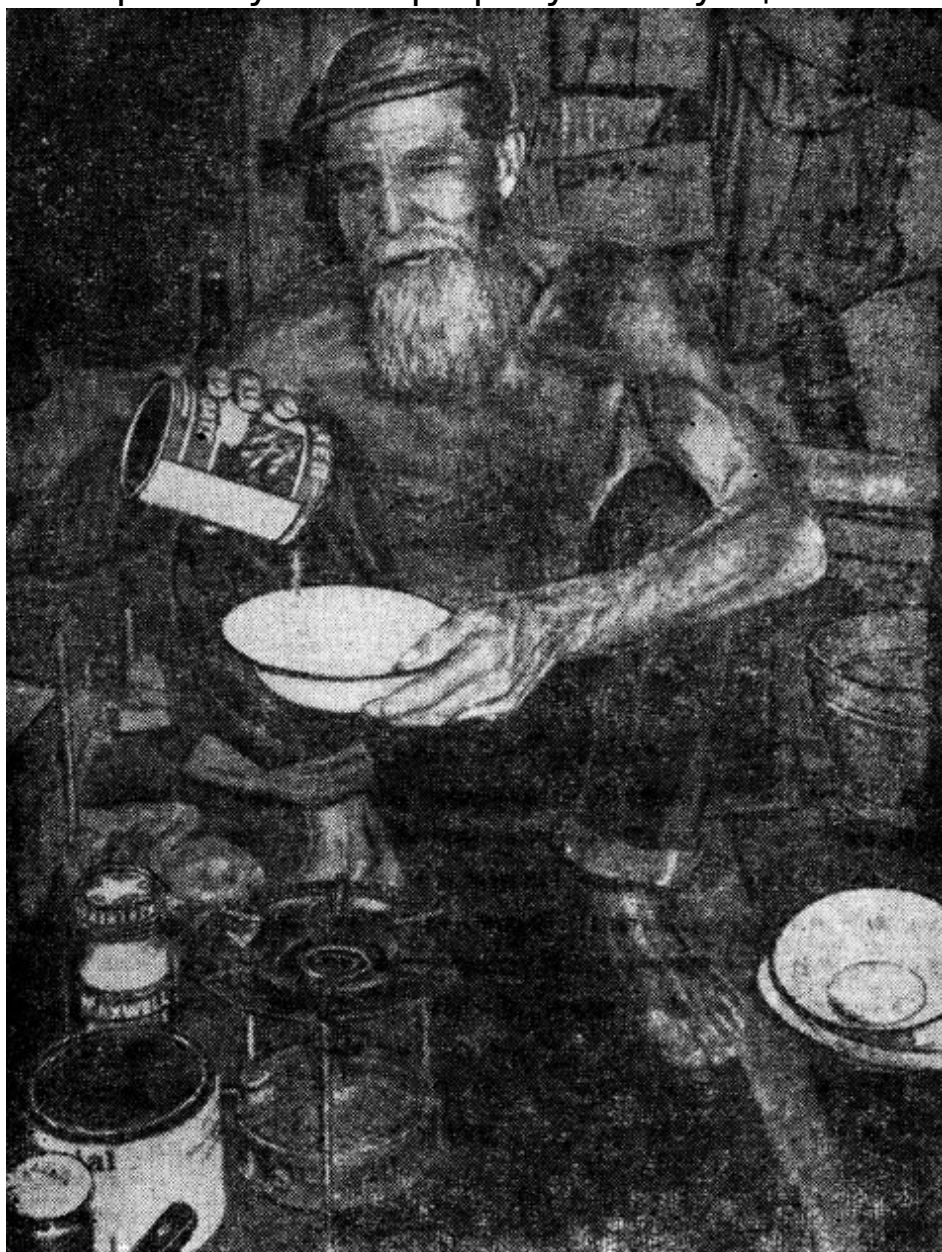
до того летучих рыб. Они лежали вплотную одна к другой, словно упакованные заботливой рукой: желудок у корифены небольшой.

Куда опаснее для летучих рыб фрегаты. Их больше, да и парят они, как орлы, на такой высоте, где мало что ускользает от их взгляда. Заприметив косяк летучих рыб (может быть, благодаря пене, бегущей по следам их преследователя — корифены), фрегат, не выпуская свою добычу из поля зрения, кругами идет на снижение. Затем он начинает маневрировать, чтобы схватить летучую рыбу. Объятая ужасом, она то и дело меняет направление полета, стараясь уйти от корифены. Кому же достанется добыча? Фрегат часто выхватывает рыбу чуть ли не из самой пасти своей соперницы. Фрегаты, по-видимому, поглощают одну летучую рыбу за другой — в здешних водах последние достигают в длину 6-8 дюймов. Какой ущерб наносят пернатые обитателям моря, показывают горы гуано, покрывающие острова вдоль побережья Перу и Чили.

Летавшие вокруг меня фрегаты, олуши, чайки гнездились на Галапагосских островах. Утром они летели на охоту, как правило, против ветра, а вечером, когда возвращались с наполненными желудками, ветер помогал их уставшим крыльям. Каждодневные наблюдения за птицами — я в конце концов даже стал различать некоторые особи по характерным отметинам — привели меня к выводу, что нет в океане такой точки, как бы далеко она ни отстояла от суши, над которой бы не летали птицы. Я даже заключил, что они охотятся на определенных участках. Часто замеченные мною птицы пролетали утром мимо плота, становились точками на горизонте, исчезали, а вечером возвращались с другой стороны. Почти всегда они летели парами.

Ожесточенная борьба за жизнь, начинавшаяся с первыми лучами солнца, не прекращалась и ночью. Темноту оглашали крики птиц, разыскивавших добычу —

креветок, каракатиц и прочих морских обитателей, поднимающихся из глубин. В полнолуние черные силуэты пернатых охотников резко выделялись на фоне серебристого диска. А рядом с плотом тоже шла война не на жизнь, а на смерть: по могучим, сильным всплескам нетрудно было догадаться, что акула схватила зарвавшуюся корифену или тунца.



Трапеза на плоту.

На ужин у меня было настоящее перуанское блюдо — сырая рыба с рубленным луком под соусом из лимонного сока, оливкового масла и чеснока. В Перу это кушанье готовят из морского окуня, я же воспользовался мясом корифены, и оно оказалось ничуть не хуже.

В моих запасах были представлены все основные продукты питания: бобы, чечевица, рис, мука, геркулес, сушеная картошка, порошок суп, лимонный сок, чернослив, изюм, мед, масло, сухари, масло для жарки рыбы. Не было также недостатка в сгущенном и сухом молоке. Вода хранилась в трех деревянных бочках, прикрепленных к левой стенке каюты. Каждая содержала пятьдесят пять галлонов — более чем достаточно для восьми месяцев плавания. Кроме того, я, конечно, рассчитывал на дождевую воду.

Рано утром на плот опустилась летучая рыба. Я хотел было разделить ее между кошками — ночью им не удалось полакомиться, иначе на палубе валялись бы кости, — но решил, что лучше воспользоваться ею для приманки: может, мне удастся поймать корифену, и тогда у всех будет царский завтрак. Я нацепил рыбу на крючок и забросил леску футов на сорок — пятьдесят, дальше я никогда не бросал из-за акул: едва я начинал удить, они появлялись, словно притянутые магнитом, и часто пожирали рыбу прямо с крючка, прежде чем я успевал вытянуть ее на борт.

Корифена тут же схватила приманку, и я вытащил ее. Это был взрослый самец. Он бился о палубу с такой силой, что в конце концов сорвался с крючка и ушел. Его могла бы удержать разве что акула, перекусив пополам. Смельчак так восхитил меня, что я даже не жалел об утраченном завтраке. Совсем иное дело Кики и Авси. Они внимательно следили за тем, как я вытаскивал корифену, и никак не могли уразуметь, куда же она делась.

Чуть позднее я заметил корифену, которая в погоне за летучей рыбой сделала один за другим восемь великолепных прыжков. Рыбка, напоминая под лучами утреннего солнца серебряную стрелу, все время меняла направление полета, но его траектория каждый раз становилась короче. Вдруг с неба спустился фрегат и начал выделять свои обычные фигуры высшего пилотажа, нацеливаясь на жертву. Летучая рыба поспешила скрыться в волнах от витающего над ней черного призрака, и в ту же секунду над ней сомкнулась пасть корифены. Охота закончилась. Фрегат легко взмыл вверх — словно лоскут, подхваченный ветром, — и через несколько минут черным крестом повис неподвижно на небе, на высоте почти мили над морем, опустив голову и не спуская с него глаз.

Чем больше я телом и душой свыкался с работой и одиночеством, тем сильнее овладевало мною чувство свободы. Море приносило мне все необходимое. Привычный мир и мне подобные отступали все дальше и начинали казаться каким-то сновидением, которое я созерцал, не принимая в нем участия. Время от времени из дымки возникали дружелюбные лица, они улыбались, ко мне обращались ласковые голоса. Все нечестное, мелкое я забыл — теперь оно не имело никакого значения.

Солнце зашло, наступила ночь — кончился еще один день. Волны, словно устав, лениво вздымались и опускались, мурлыча какую-то древнюю колыбельную. Небо было покрыто редкими облаками. Одинокая белая птица поднялась с темной поверхности моря и, медленно взмахивая крыльями, исчезла во мраке.

Я съел свой скромный ужин и сел у закрепленного штурвала. Иногда я вставал и проверял, не сбился ли с курса, и, если было нужно, опускал или поднимал шверты, так как при поломанных рулях держаться точно по курсу трудно, почти невозможно.

Время шло, и вдруг я увидел перед собой Тэдди. Вот когда наступил подходящий момент! Я медленно повернулся лицом к корме, в том направлении, где находится Нью-Йорк. "Тэдди... Тэдди... Тэдди!.. — позвал я. — Ты слышишь меня? Слышишь меня, Тэдди? Вот ты стоишь передо мной. Я тебя хорошо вижу... Я тебя хорошо вижу... И ты тоже видишь меня. Я знаю, ты видишь меня, я знаю..."

Время не имело значения. Я сидел на плоту, двигавшемся на запад, видел плачущую больную Тэдди, и у меня тоже навертывались слезы. "Это пройдет, Тэдди! — сказал я. — Ты поправишься. У меня все в порядке, я плыву вперед, обо мне не беспокойся!"

Я не сомневался, что действительно видел Тэдди. Немного погодя я поднялся, прошел по плоту, подтянул немного галс и опустил на фут шверт правого борта.

Последние четыре дня море волновалось, качка была сильнее обычного. Я с трудом делал около сорока двух миль в день. Дул зюйд-ост, и я правил на юго-запад. Питался я летучими рыбами, которые ночью попадали на палубу. Скорее всего их спящими заносило на плот волной. Днем море кишело ими, может быть, потому, что я ушел далеко от Галапагосских островов, и лишь редкие фрегаты и гагары отваживались каждый день преодолевать такие большие расстояния. Но все же на горизонте я видел силуэты птиц, камнем бросавшихся вниз. Корифенам в этих водах жилось вольготнее, им не угрожала конкуренция сверху.

День мой, как всегда, начался с обтирания морской водой и небольшой разминки. Забыть о ней мне не позволял живой пример гибкости и подвижности — кошки.

Одиночество начало угнетать меня, мне стали слышаться голоса — Тэдди и матери. В 1954 году я улавливал их только ночью, а теперь слышал также и

днем, и притом гораздо чаще. Говорили они совершенно отчетливо и спокойно, всегда по одной. Я ясно различал выражение лица и позу говорящей и ничуть не удивлялся ее появлению. Мать и Тэдди беспокоились за меня, иногда ласково удерживали от неразумного поступка, например от того, чтобы спуститься для починки рулей за борт. В остальном они не противоречили мне и одобряли мои решения, всегда понимая, чем они вызваны. Голоса, по-видимому, были порождены моим внутренним стремлением к себе подобным, являлись своеобразной формой общения с двумя самыми близкими мне людьми, оказавшими решающее влияние на всю мою жизнь. Чаще всего они будили меня ночью, и тогда я слышал их еще яснее, чем днем. Их присутствие казалось мне совершенно реальным, и лишь спустя несколько секунд я вспоминал, что нахожусь на плоту, за тысячи миль от берега. Затем меня потрясло сознание того, что я совершенно один, я даже испытывал обиду, что они меня покинули. Кстати сказать, моя мать давным-давно умерла, еще в 1947 году, и похоронена в Сан-Франциско.

Я стоял у наветренного борта, стараясь при свете полной луны ослабить левый брас. Ветер отнес на меня стайку летучих рыб. Несколько десятков упало на палубу и трепыхалось на бамбуковом настиле. Я опустился на колени и начал подбирать рыбу, но тут налетела огромная волна, отбросила меня к бочкам с водой, а большую часть рыбы унесла обратно в море. Кики и Авси, наевшиеся до отвала, спали и ничего не видели.

На рассвете я нацепил летучую рыбу на крючок и забросил леску в воду. Юные корифены, облюбовавшие в качестве убежища дно плота, еще не выходили на утреннюю охоту и не прочь были полакомиться. Четверо из них жадно вцепились в приманку. Я вытащил леску,

но — увы! — приманка в нескольких местах была надкусана, однако ни одна из нападающих не смогла проглотить ее целиком: у корифен очень маленькие рты и мелкие зубы. Но как только я забросил леску вторично, на нее пулей налетела взрослая корифена и вмиг заглотнула приманку. Я поспешил вытащить ее из воды. Кики и Авси, с любопытством наблюдавшие за моими действиями, прямо-таки взлетели на крышу каюты. Они знали по опыту, что сейчас рыба будет истступленно биться на палубе, борясь за свою жизнь, и может задеть их хвостом.

Три дня я не мог определять свои координаты по солнцу: погода была бурная, плотные тучи закрывали небо. 4 августа я находился на $00^{\circ}31'$ южной широты и $99^{\circ}24'$ западной долготы — в тридцати одной миле к югу от экватора. Под вечер поднялся ветер, и мне пришлось спустить грот и взять рифы [*] на бизани. Три дня меня несло под облачным небом на север, потом ветер спал и море немного стихло. Солнца во время шторма не было, и по счислению я определил, что нахожусь в семидесяти милях к северу от экватора. Только бы меня не занесло дальше на север, в экваториальную штилевую полосу, где неделями можно ожидать ветра! Затем ветер переменялся, и я пошел на юго-запад. Один день было относительно тихо, но потом снова поднялся чуть ли не шторм, и я помчался на юг, стараясь вернуться на свой курс. Через два дня буря стала затихать, но направление ветра по-прежнему благоприятствовало мне. 12 августа небо очистилось, и я смог взять высоту солнца.

Запись в вахтенном журнале 12 августа 1963 года

2°14' южной широты

105°11' западной долготы

Ни разу за все плавание я не мчался с такой быстротой, как тогда, когда буря несла меня на юг, чуть

ли не отрывая грот от ликтроса [*]. Плуту моему досталось: леера и штаги жалобно стонали, с трудом выдерживая нагрузку, через палубу перекатывались волны, а два шверта сломались с таким грохотом, словно произошел взрыв. К счастью, у меня были запасные шверты.

Один мой друг, судостроитель из Айленд-Сити, предупредил знакомого судового поставщика, что я зайду к нему в магазин. Хозяин показал мне все свои запасы, в том числе ирландский льняной канат, белый, шелковистый и очень крепкий. Я знал, что он стоит дорого, и тут же сказал, что этот канат мне не по карману. "А вот и нет!" — воскликнул старик и сбавил цену до вполне приемлемой. Когда я расплатился, он точно такую же бухту преподнес мне в подарок. "Пригодится, — заметил он. — Не было еще случая, чтобы снасть на корабле оказалась лишней. Всего не купишься!" Он хорошо знал море, в свое время вел спасательные работы близ Нью-Джерси, нажил состояние, а потом потерял его. Он подарил мне, кроме каната, два стакселя в хорошем состоянии, хотя и бывших в употреблении, вертлюги для якорной цепи, блоки, струбцины, несколько бухт марлиня [*] и проволоки.

Как-то раз в ясный тихий день я вытащил из мешка два паруса и разложил на палубе для просушки. Я собирался сделать из них тент, стоки для дождевой воды, а остатки пустить на заплаты.

На обоих парусах, совершенно целых, стояла метка известного мастера из Айленд-Сити. Один — из египетской хлопчатобумажной ткани — предназначался для яхты, но ее владелец умер. Пока я смотрел на паруса, мне стало жаль засовывать их в мешок или резать на куски: парус для меня — живые крылья, которые должны лететь по ветру.

Ночью я стоял у штурвала, глядел, как звезды то прячутся за верхушкой мачты, то снова появляются, и вдруг меня осенило: а не использовать ли паруса по назначению? Мой грот, свисавший с рея, не доходил до палубы на целых восемь футов, из-за чего ветер, проходя под ним, терял часть своей силы,двигающей плот. Мне это с самого начала не нравилось. Так почему бы мне не укрепить перед гротом больший из двух парусов, так чтобы он доходил до самой палубы, но не касался ее? Я закрепил штурвал, достал парус, разложил его на палубе и измерил шкаторины. Как раз подойдет! Я укреплю его на кливер-фале под тем же углом, что и грот, натянув шкоты и галсы поперек носовой части. Дополнительный парус поможет мне пройти восемь — десять тысяч миль до Австралии.

Утром я наскоро проглотил чашку чаю и принялся за дело. За ночь я во всех деталях продумал, как все сделаю. Я закрепил фаловый угол к рею, а шкот и галс — прямо к палубе, к бамбуковому настилу. Когда грот был поставлен, парус моментально расправился, наполнился ветром — на нем не осталось ни морщинки, словно он именно для моего плота и предназначался. Вряд ли он лучше подошел бы к яхте миллионера, для которой был шит. Старый мастер как в воду глядел, когда сказал: "Возьмите парус — у вас запасных нет, а кто знает, может, он и пригодится!"

При спуске грота дополнительный парус тоже спустится, фал придется снять и заложить за кливер.

Весь день я следил, как ведет себя новичок в моем снаряжении. По скомканному листу бумаги, выброшенному за борт, я проверил скорость и пришел к выводу, что выиграл две-три мили в день.

Ну а второй парус? Этот красавец, почти совсем новый, уступал первому по величине. Для него могло быть только одно применение — дополнительная бизань. Он и по размеру был точно такой же, как моя

бизань. Я влез на мачту, закрепил блок и фал и поднял парус. Лучше не придумаешь — фаловый угол пришелся вровень с бизанью, галсовый угол почти достиг основания мачты, а шкотовый угол только чуть-чуть не дошел до борта. Теперь он не доходил до палубы всего на шесть дюймов и наполнялся ветром не хуже бизани. С двумя дополнительными парусами плот больше походил на судно.

Впервые за все путешествие я почувствовал, что действительно иду под парусами, и чуть было не закричал от радости. Вокруг меня красиво выгибались белые паруса, каждая ниточка делала свое дело. Даже ветер вроде бы стал свистеть веселее, а солнце сиять ярче. И дело не только в том, что теперь я шел быстрее — разница была не так уж велика, — но я радовался, что выжимаю из ветра все, что могу. Едва только я оставил Кальяо, я стал думать, как построить более совершенный плот с большим количеством парусов, даже сделал несколько чертежей, которые, может быть, когда-нибудь еще пригодятся мне. Но прежде всего Австралия — залив Сиднея. Как, однако, медленно уменьшается число миль, отделяющих меня от него!

VII

Одиночество влияет на человека благотворно. Хочет он того или нет, оно заставляет его взглянуть на себя со стороны. "Что я здесь делаю?" — не раз спрашивал я себя и неизменно отвечал: "Совершаю длинное и трудное путешествие, о котором мечтают миллионы людей, поэтому я не одинок. Я смел, но как я ничтожен, как невероятно ничтожен!"

В лесах и горах одиночество никогда не бывает полным: каждое дерево, каждая былинка, каждый камушек — это как бы живые существа, близкие вам, а отдаленные вершины гор, вокруг которых собираются звезды, — храмы, куда вы издалека шлете молитвы. На море же одиночество — окно, открывающееся в пустоту. Вы видите небо, облака, равномерно вздымающиеся волны, но знаете, что за ними нет ничего знакомого вам, что в нескольких милях под вами начинается мир, один взгляд в который может свести человека с ума.

Запись в вахтенном журнале

Море довольно бурное. Солнца нет. Плот качает так, что по палубе трудно ходить. Утром несколько раз налетал дождь. Волны перехлестывают через нос и борта. Все еще иду левым галсом. Во время дождя видел несколько огромных китов: они шли, как флотилия подводных лодок. Судя по тому, под каким углом поднимались над ними фонтаны, это были кашалоты.

Я скучаю по Тэдди, по спокойным вечерам в нашем домике, когда она читала мне вслух, по долгим прогулкам в ущельях и горах через лиловые заросли шалфея, по тихим ночам, когда койоты воют, словно обезумевшие индейцы во время военного танца. Мне

недостает всего этого. Потом я вспоминаю, что еще не внес арендную плату за этот месяц, и невольно улыбаюсь... Одно здесь хорошо — нет хозяина, который за невзнос арендной платы может выставить тебя за дверь. Ну а уж если властитель моря тебя выставит — то прямо на корм акулам.

Подошла Кики и приласкалась ко мне. У нее удивительное чутье — всегда выбирает подходящий момент. Умна, ничего не скажешь! Она нашла, например, чем пополнить свой ежедневный рацион — кусочками сухих банановых листьев с крыши каюты, что непрерывно шуршат на ветру. Может быть, ей хочется добавить к рыбе и консервированной пище что-нибудь выросшее на земле... Мики в 1954 году вела себя точно так же — она глодала морской мох, проросший между бревнами. Совсем недавно Кики начала понемногу лакать морскую воду; Авси пил ее с самого начала плавания. Обе кошки чувствовали себя великолепно, никаких признаков недомогания я у них не замечал и знал, что они не простят, если заметят их у меня. "Какой же ты тогда путешественник-одиночка?" — спросят они меня и, презрительно помахивая хвостом, отойдут.

Я доел последние свежие лимоны и открыл одну из двух бутылей с лимонным соком — подарок друзей из Лимы. После кипячения сок, наверное, все же сохранил значительную часть витаминов. Кроме того, у меня было еще три коробки бутылочек консервированного сока, так что цинга мне не грозила.

Последние несколько дней погода стала гораздо спокойнее, и я смог заняться ремонтом. Каждый день выявлялись какие-нибудь новые поломки, но главной моей проблемой, конечно, оставались рули. Я привязал их тонкой сильной проволокой, но что толку? — она очень скоро порвалась.

На днище плота поселились корифены. Они, видимо, решили не расставаться с этим жилищем: была ли

волна, дул ли штормовой ветер, светило ли солнце — они всегда были там. Мне хотелось, чтобы они сопровождали меня до Австралии — в их обществе было как-то веселее. Среди корифен преобладали самки с мальками величиной от трех до двенадцати дюймов. Те, что постарше — от двух с половиной до трех футов в длину, несколько раз на день выплывали из-под плота и учились прыгать, но прыгали они недостаточно высоко и быстро, чтобы поймать летучую рыбу. Плавали они по двое, по трое, так безопаснее в случае нападения акулы. Однажды я видел, как рядом с плотом корифена прыгнула футов на двадцать, не меньше. Молодая корифена прыгает вверх футов на пять, а взрослая на десять — двенадцать. Падая вниз, она обычно переворачивается на бок и с такой силой ударяется о поверхность воды, что звук удара разносится далеко вокруг. Я полагаю, что это сигнал, а кроме того, своеобразная гимнастика, придающая телу крепость и гибкость, благодаря которым корифена с фантастической быстротой настигает летучих рыб.

Вытащить из воды корифену, заглотнувшую приманку, — большое искусство: надо не дать ей оказаться рядом с бортом плота, иначе она будет биться о его край, пока не сорвется с крючка, оставив на нем часть глотки. Извлеченная из воды корифена необычайно красива: блестящая желтовато-синяя спина с зеленым и золотистым отливом и серебристо-белое брюхо покрыты сверкающими всеми цветами радуги каплями воды и напоминают наряд, расшитый бриллиантами. Недаром перуанцы называют корифену золотой рыбой.

Сегодня я видел несколько фрегатов и белую олушу. Олуша очень заинтересовалась плотом и несколько раз пролетела между гротом и бизанью. Длинная тонкая шея, крылья, отогнутые далеко назад, — ну в точности реактивный самолет в миниатюре. Она то со

сложенными сзади крыльями камнем кидалась с большой высоты вниз, то на бреющем полете проносилась над самой поверхностью моря, чтобы подобрать свою добычу.

Море волновалось, я не мог делать записи в вахтенном журнале, и почему-то мне вспомнился очеркист из лимской газеты, который однажды явился ко мне в гостиницу. Он долго служил в американском флоте и неплохо говорил по-английски. Ему хотелось ни больше ни меньше как плыть в Австралию на правах официального корреспондента. Во всех испанских экспедициях, заявил он, всегда участвовали хроникеры.

— Если вы не возьмете с собой корреспондента, мир никогда не узнает всю историю вашего плавания.

— Ну а если я вас возьму, что вы будете делать кроме как писать? — полюбопытствовал я.

— Ничего, — ответил он. — Я стану задавать вопросы, вы будете на них отвечать, а я — записывать ответы.

— Сколько вопросов в день?

— Сколько мне захочется.

— Что же это за вопросы?

— О, в основном о том, как на человека вашего возраста влияет одиночество... Конечно, читателей это очень заинтересует.

— Да, но какое же это одиночество, если нас на плоту будет двое? — возразил я.

— Ну, я-то буду чувствовать себя достаточно одиноким, — признался он с улыбкой.

— А вы когда-нибудь находились в одиночестве? — поинтересовался я.

— О нет, никогда!

— И вы думаете, что оно окажется вам по силам?

— С вами — да.

— А если я упаду за борт, заболею, умру и вы останетесь один? Как тогда?

Секунду он озадаченно молчал, потом улыбнулся:

— Я не допущу, чтобы вы упали за борт.

— То есть вы будете присматривать за мной, семидесятилетним старцем? — спросил я.

— Да, конечно, — ответил он покровительственным тоном.

— А кто будет готовить? — спросил я.

— Ну, готовить я не умею, — отрезал он.

— А мыть посуду и чистить картошку?

Он сделал гримасу и пожал плечами. И все же он очень удивился, когда я отклонил его предложение. Каждый день до самого моего отъезда он являлся вместе с фотографом газеты и спрашивал, не передумал ли я.

Ежедневно задолго до восхода солнца я становился на краю палубы на колени, зачерпывал пригоршнями воду и, запрокинув голову назад, в одну ноздрю набирал ее, а через другую выпускал. Затем я полоскал горло и по примеру Кики и Авси прочищал уши. После этого я опускал лицо в ведро с морской водой и, задерживая дыхание, вращал глазами слева направо. Подняв голову, я переводил взгляд с отдаленной точки на горизонте на какой-нибудь предмет около себя на плоту, хотя из-за качки смотреть на него пристально было нелегко.

Я сделал для Кики небольшой поводок, чтобы удерживать ее: в лунные ночи она, увлекшись наблюдением за фосфоресцирующими телами корифен, со скоростью ракеты вылетающих из-под палубы, с опасностью для жизни перегибалась за борт. Но больше всего времени она проводила на крыше каюты, среди высохших банановых листьев. Оттуда она могла наблюдать за палубой — не упадет ли на нее летучая рыба. Иногда Кики запутывалась поводком в снастях и, стараясь высвободиться, обматывалась веревками все больше и больше. Однажды я насчитал на спасительном поводке двадцать узлов. Оказавшись в безвыходном

положении, Кики издавала жалобное мяуканье, не услышать его было невозможно. Я сразу понимал, в чем дело, и бросался, вернее, карабкался ей на помощь. Стоило мне начать распутывать Кики, как она, преисполненная благодарности, ластилась ко мне, била меня хвостом, мурлыкала... Часов в десять утра Кики, последний раз подравшись с Авси, пряталась от жары где-нибудь среди карт. Авси внимательно наблюдал за своей старшей подругой и во всем ей подражал. Иногда она, подчиняясь непреодолимому желанию драться и возиться, прыгала Авси на спину, словно желая переломить ее пополам, но котенок понимал, что это игра, и не выражал ни малейшего недовольства.

Я заметил, что сами рули сделаны из такого тонкого материала, что местами, особенно в районе соединения с баллером, совсем прохудились. Это грозило не менее серьезными осложнениями, чем все остальные неполадки с рулями. Какая польза будет от перьев руля, не соединяющихся с плотом?

В этот день я роскошно позавтракал вареной рыбой с картошкой под горчичным соусом. Соус я приготовил из масла, темной муки, сухого молока и большого количества горчицы, которая великолепно действует на желудок. Иногда я соус кипятил, но чаще поджаривал все его составные части на сковороде, обильно сдабривая лимонным соком. Стряпая на плоту, который, казалось, всячески старался освободиться от мачт и парусов, я буквально жонглировал кастрюлями, сковородами, примусом и другими кухонными принадлежностями.

Я уже несколько месяцев находился в пути, но ни разу не солил пищу. Мне не хотелось. Я и всегда-то употреблял очень мало соли, может быть, именно поэтому я мог в последнем путешествии пить так много морской воды. Много лет назад, на Аляске, где не было

свежих фруктов и овощей и приходилось питаться одной олениной, мне хотелось соли. Если же я приготавливал из оленины жаркое с бобами, заправленное жиром и специями, потребность в соли исчезала или становилась меньше. От индейцев я научился добавлять в мясо желчь животных. Это горькое вещество помогает человеку, вынужденному питаться одним мясом, удерживаться на грани между здоровьем и болезнью и даже между жизнью и смертью. Позднее я читал, что индейцы с Великих равнин также добавляют в пищу немного желчи. А вот белые охотники на буйволов, которым приходилось длительное время жить на одном буйволовом мясе, обычно заболевали и нередко умирали.

В полдень я установил, на какой широте нахожусь, и приготовился спуститься за борт: левый руль был в таком плачевном состоянии, что требовал немедленного ремонта. Все нужные инструменты я сложил в деревянный ящик, а его поставил так, чтобы без труда дотянуться до него из воды. Тяжелые металлические предметы не дали бы случайной волне смыть ящик с палубы. Завидев на небе тучки, я не стал терять время даже на обед, обвязался веревкой и спустился в воду.

Работа оказалась труднее, чем я предполагал. Я непрерывно ударялся о края палубы, погружался в воду или всеми силами удерживался за борт, тогда как море старалось оторвать меня от него. Весь я был изранен острыми краями искореженного железа, и царапины кровоточили.

На меня накатилась огромная волна. Схватившись за руль обеими руками, я зажал клещи в зубах (гаечный ключ я засунул за пояс), задержал дыхание и повис под кипящей поверхностью воды. Палуба, очевидно, сошла с палубы; он переваливался с борта на борт, одна волна за другой перекачивались через его борт. "Долго я так не

выдержу", — мелькнуло у меня в голове. Когда же наконец наступила передышка, я, взглянув вниз, заметил в нескольких футах от своих обнаженных ног длинную темную тень. Вглядевшись, я понял, что это акула. Ее привлекло мое белое тело, похожее на светлое рыбье брюхо, в которое акулы с таким удовольствием вонзают зубы. Я весьма поспешно поднялся на плот. Что, если бы акула отхватила мне ступню или ногу? Сил бы у нее хватило — она была достаточно велика, а подкрасться ей ничего не стоило: при работе часто приходилось для равновесия отставлять ногу далеко назад. Надо придумать приспособление, которое защищало бы меня в воде от неожиданного нападения, что-нибудь вроде клетки из бамбуковых стволов. Ведь, углубившись в работу, я не мог следить за тем, что происходит в воде, да это было и нелегко: когда на плот набегала волна, под ним было совершенно темно. Акулы же умеют подкрадываться к своей жертве незаметно.

Всю ночь плот сопровождали корифены, лениво скользившие по воде. Их было великое множество, не иначе как явились на какое-нибудь торжество. Вода фосфоресцировала особенно ярко и, когда устремившаяся куда-то молнией рыба вспенивала ее, удивительно напоминала небосвод в миниатюре со всеми звездами и Млечным Путем. Из мрака, отдуваясь, как слон, выплыл огромный дельфин, явно желавший узнать, что здесь происходит, и в мгновение ока все корифены исчезли. Но как только дельфин удалился, они вернулись и оставались у плота до зари. Утром я забросил удочку, но клева не было, видно, корифены покинули меня, и полчаса спустя я отказался от мысли полакомиться рыбой.

Запись в вахтенном журнале

Ночь была душная, дул ветер, временами налетал ливень. Небо очистилось только утром. Ветер

несильный, но погода прекрасная: первый за все время настоящий пассат. На леску для акул насадил голову только что пойманной корифены.

Тридцать шесть часов вымачивал чечевицу. Это способствует ее набуханию и значительно увеличивает питательную ценность, да и варится она быстрее. К чечевице я добавил жареного лука, горчицы, чесноку, получилось замечательное блюдо. Картошка, хоть она и хранится на палубе в открытой корзине свободного плетения и не защищена от воздействия солнца, ветра и воды, хорошо выдерживает плавание. У меня еще осталось бушеля ^[5] три. А вот лук начал портиться. Я ем его три раза в день, чтобы поскорее уничтожить.

Проверяя свои запасы рыболовных принадлежностей, я обнаружил несколько пакетов с мелкими крючками. Каким образом они ко мне попали? Я их не покупал. Но тут на одном пакете я увидел записку от Тэдди: "Купила тебе мелких крючков. Если плот разобьется и ты окажешься на необитаемом атолле, они тебе понадобятся для мелкой рыбы: на крупные она не идет. Прошу тебя, не выкидывай крючки, ты ведь не знаешь, что тебя ждет, а до Австралии далеко. Тэдди".

Тэдди, конечно, была права. Она никогда ни о чем не забывала. Мелкую рыбу легче поймать, она кишит в лагунах, да и к плоту приближается охотнее. Если я потерплю крушение и окажусь на необитаемом острове, то смогу жить на нем сколько угодно. Снаряжения и инструментов у меня куда больше, чем в 1954 году.

Далеко за полночь. Я сплю на резиновом матрасе рядом с каютой. Во сне я вижу перед собой Тэдди. Я сразу просыпаюсь и смотрю в ночь, глубоко потрясенный тем, что она так живо предстала передо мной. Тут я понимаю, что она обратилась ко мне из Нью-Йорка через весь Тихий океан.

Несколько дней подряд я видел ее почти непрерывно. Потом она растворилась позади меня в море.

16 августа я заметил на небе милях в восьми от себя облачко, удивительно похожее на самолет. Светло-коричневое под лучами солнца, оно быстро двигалось с северо-востока на юго-запад, мимо почти неподвижных скоплений облаков. Несколько мгновений я думал, что это разыскивают меня, но облачко в конце концов потеряло свою форму и исчезло.

Примерно через полчаса, без четверти три дня по местному времени, я, стоя у компаса, увидел, что прямо на плот движется судно. Это был пароход; находился он милях в четырех от меня и, по-видимому, шел на полной скорости. Я поднял американский флаг, а на корабле, когда он находился примерно в миле от меня, взвился английский. На расстоянии четырехсот ярдов судно замедлило ход и начало описывать около меня круги, а я махал рукой стоявшим на мостике офицерам в белом и матросам на баке. В бинокль я рассмотрел название судна — "Вакатане". Скорость плота в это время составляла около двух с половиной узлов. "Вакатане" сделал два круга. Я хотел попросить, чтобы мне помогли отремонтировать рули, но отказался от этой мысли: при довольно бурном море высадиться из лодки на плот было бы нелегко. Кроме того, рули нуждались в сварке, а как ее произвести, если они погружены глубоко в воду? Для капитального ремонта надо было вытащить плот на сушу и снять рули совсем. К тому же, чтобы оказать мне помощь, судно должно было на много часов лечь в дрейф, а какой капитан согласится нанести своим хозяевам такой ущерб? Но я был рад, что меня заметили с судна: об этом, конечно, радируют на Гавайи, а оттуда известят Тэдди, что я жив и здоров (кстати, по какому-то недоразумению Тэдди получила это сообщение лишь два

месяца спустя). Сделав два круга, "Вакатане" пошел своим курсом. Часы показывали три часа дня, и я, как всегда в это время, взял высоту солнца. Покончив с этим делом, я поискал глазами судно, но оно уже скрылось за горизонтом.

VIII

Ясная ночь. Сидя у компаса, я думаю о древних полинезийцах. В больших двойных каноэ они плавали по морям, по которым сейчас иду я. Напряженно вглядывались их штурманы в созвездия, стараясь как можно точнее определить расстояние от горизонта до больших звезд. Еще бы! Если они ошибутся, то, может быть, больше никогда не увидят землю! А сколько опасностей им непрестанно угрожало: может налететь шторм, подняться встречный ветер, отнести в сторону течением, а если небо затянут облака, они лишатся возможности определять свое местонахождение по солнцу и звездам. Сбившись с пути, они не смогут вернуться на свой курс — компаса у них нет. Даже когда кончались вода и пища и смерть начинала косить сначала слабых, а потом и более выносливых, те, кто еще оставался жив, продолжали грести. Бывало, что волны бросали каноэ на рифы и несколько выживших смельчаков выползали из разбитой лодки на берег, куда до них, быть может, не ступала нога человека. Мореходы строили на берегу дома, точно такие же, какие возводили на родине, и, если среди них были женщины, через несколько десятилетий еще один остров на просторах Тихого океана оказывался заселенным. Первые пришельцы к этому времени умирали, история их плавания становилась легендой о мужестве и страданиях, об упорстве вождя, которого будут прославлять будущие поколения. Каждый сказитель и певец наделит его новыми достоинствами, пока в их представлениях о прошлом своего народа он не станет своего рода божеством. Но пути назад, на родину, не было, в море не остается следов, а ориентироваться по звездам и горам уже было нельзя. В

памяти людей воспоминания о древней родине смешаются с представлениями о вновь обретенной отчизне, и скоро сохранится лишь сознание того, что они принадлежат к народу путешественников, которых ураган, течения или другие проказы моря занесли за океан.

Откуда явились великие строители каноэ и смелые мореплаватели? Кто знает их историю? Кто, глядя на звезды, может сказать, что происходило под ними, когда Земля была юной? Может быть, звезды не раз видели каноэ, плоты или бревна, унесенные в море и напрасно старающиеся найти путь к родному берегу. Велик океан, ничего не скажешь, но и мал в то же время: человек, существо невероятно настойчивое, сумел переплыть его, совершая переходы из Азии, Северной и Южной Америки в Полинезию. Об этом свидетельствуют лица и тела полинезийцев, некоторые слова, принесенные ими с отдаленных берегов и искаженные временем. Я разговаривал с полинезийцами. Одни говорят, что их предки явились с северо-запада, другие утверждают, что они шли следом за солнцем, третьи убеждены, что их праотцы жили на вершинах гор затонувшего континента.

Сегодня качка килевая, корма и нос поочередно ударяются о воду, а мачты словно стараются отделиться от креплений. Вспоминаю, как я сидел в Нью-Йорке у мастера канатного дела, который поставил мне тросы для стоячего такелажа [*]. Его яхта куда больше моего плота, мачта в три раза выше, и все же штаги у него гораздо легче, чем те, что хотел я. "Они выдержат хоть пятнадцать тонн, — сказал он с сомнением в голосе, — но, раз вы хотите, пусть будут такие". По опыту 1954 года я, конечно, великолепно знал, почему нужны тяжелые снасти, но даже мне трудно было предвидеть, что мой железный тримаран все время будет так сильно качать. В старое доброе время, когда по морям ходили

суда с прямым парусным вооружением, самое страшное для них было попасть в шторм у подветренного берега или, наоборот, в штиль: мертвая зыбь заставляла парусник качаться, пока его ванты и штаги не сдавали и мачты не летели за борт. Многие суда гибли именно в безветренную погоду. Чтобы избежать этого, ставили дополнительные штаги, но при размахах качки до 40° никакие цепи, канаты и тросы не выдерживали, и высоченные мачты с многотонными парусами на реях рушились.

На следующую ночь после встречи с "Вакатане" я в полудремотном состоянии сидел около каюты. Вдруг до моего слуха дошел негромкий, но быстро нарастающий гул. Я вскочил. По правому борту плота, в опасной близости от него шло большое судно. Я схватил фонарик, чтобы осветить парус, но пароход уже проскочил. Стоило ему изменить курс на какую-то долю градуса или рулевому задремать хоть на секунду, и мое плавание здесь бы и закончилось. Тэдди и в 1954 году, и сейчас больше всего боялась именно того, что на меня наскочит судно. В начале путешествия я зажигал фонарь, но потом все мои фонари заржавели.

Запись в вахтенном журнале 19 августа 1963 года

2°32' южной широты

111°35' западной долготы

Мой семидесятый день рождения

Примусы начали барахлить. Причина тому — несомненно, воздействие морского воздуха. Я потратил массу спичек и драгоценного спирта и в конце концов решил отказаться от горячего ужина и довольствоваться банкой холодных бобов. Мне и раньше случалось месяцами обходиться без горячей пищи. На "Генриетте" волны однажды разбили железную дверь и затопили

камбуз. Мы, матросы, много дней сидели на одних сухарях, которые к тому же кишели червями. Обычно мы клали сухари — вместе с червями, разумеется, — в парусиновый мешок, разбивали их шкворнем и только тогда ели, запивая водой. В кубрике всегда стояла полутьма, пойдя разбери, не кладешь ли ты в рот червяка.

Помню, был такой день, когда, проработав под снежной крупой на реях с утра до вечера, мы уселись, даже не снимая плащей и зюйдвесток, на свои сундучки и с мрачными лицами принялись разбивать сухари. Вдруг самый здоровый парень в кубрике проревел: "Я не прочь есть сухари, но если в них червей больше, чем муки, то что, черт подери, я ем? Может, вы скажете? А если начнешь выбирать червей, сдохнешь с голоду, прежде чем кончишь. Этим проклятым сухарям не меньше пяти лет от роду. Я видел, когда их грузили на борт. Старик перекупил эти сухари у одного капитана-мошенника, который хранил их для своей команды. Проклятые разбойники!" И он стукнул кулаком по доскам, заменявшим нам стол. "В первом же порту ноги моей здесь не будет! К дьяволу! Бросаю море — сыт им по горло!" Голубые глаза, сверкавшие от ярости, в сочетании с русой бородой и загрубевшим лицом делали его похожим на воинственного викинга, который стоит на носу ладьи, готовясь спрыгнуть на берег. Его взгляд упал на меня. "Сынок! — Он опустил мне на плечо тяжелую, словно гиря, руку. — Первый раз я вышел в море двенадцатилетним мальцом. Нанялся коком на шхуну с Балтики. Ты знаешь, что это такое? Не думай, что нам здесь приходится туго, мыс Горн — это детские игрушки. Кок! На палубе, будь она трижды проклята, я находился куда чаще, чем в камбузе, а когда все валились на койки и задавали храпака, я шел варить еду. В пятнадцать лет я был совершенно взрослым мужчиной, такого же роста, как сейчас, а не недорослем

вроде тебя". Он улыбнулся, и его железные пальцы стиснули мое плечо. "Послушай, сынок, что я тебе скажу: бросай море! Бросай море, пока не поздно!" И он запел:

С бурями и океаном

Навек я судьбу связал.

То, что море забрало,

Оно не отдаст назад. [6]

Его могучий голос сотрясал кубрик и смешивался с ревом волн, которые бились о рубку.

Для тренировки памяти я когда-то заучивал наизусть стихи и прозу, а главное — запоминал числа. Еще на берегу я убедился в том, что это хорошая привычка.

Почти целую неделю небо хмурилось, но сегодня оно очистилось, ночью высыпали звезды и околдовали меня своей красотой. Собравшись кучками в созвездия, они повисли светлыми облачками над темным морем. Полярная Звезда [7] находилась немного ниже, чем я предполагал, — верный признак того, что я взял чуть южнее, чем следовало. К западу от нее виднелся ковш Большой Медведицы. Млечный Путь отчетливо прочерчивал небосвод немного позади плота. Венера закатилась рано. Орион к полуночи достиг зенита и стоял там, большой и красивый, как крупная бабочка.

Иногда Кики подходила ночью к штурвалу и просила пить. По ее мяуканью я всегда знал, что ей что-то нужно. Полакав воды, она отправлялась с Авси на подветренную сторону плота — может, море выбросило летучих рыб. Мешкать кошкам нельзя было — перекатывавшиеся через борт волны смывали их добычу обратно в море.

То, что несколько дней я не имел свежей пищи, давало себя знать, и утром я взял три больших дольки чеснока, мелко-мелко порубил их и бросил в кастрюлю, где уже кипела вода с молоком. Через десять минут я снял кастрюлю с огня и выпил ее содержимое. До полудня я больше ничего не ел. Чеснока у меня было

достаточно — Тэдди купила на рынке в Лиме целый фунт, к вящему удивлению торговли. Приняв Тэдди за американскую туристку, та спросила: "А что, в Штатах нет чеснока?"

Вчера вечером я все ждал, что ветер стихнет, и не спускал грот. Наконец ветер успокоился, и я уже начинал надеяться, что смогу отдохнуть, как вдруг из мрака налетел новый шквал, вмиг взбаламутивший море. Я сразу понял, что дело плохо и надо немедленно спустить грот. Несколько раз парус цеплялся за мачту, и мне пришлось карабкаться наверх и отцеплять его. Когда парус упал наконец вниз, его бесформенная масса закрыла всю палубу. Он мог зацепиться за что-нибудь, за шверты, например, и превратиться в клочья. Полчаса я трудился в поте лица своего, пока не собрал и не закрепил парус. Когда палуба очистилась и я снова стал на корму, я вспомнил, как Пэдди, наш запевала с четырехмачтового барка "Бермуда", говаривал, спустившись на палубу с рей, где он провел много часов: "Сейчас, видит бог, свистнуть бы старику нас на корму и дать бы каждому по стаканчику грога, но наш ублюдок и не подумает". Вот и мне сейчас надо было подкрепиться: внутри я ощущал пустоту, ноги дрожали. Я открыл банку с бобами и уничтожил их: ночь далеко не кончилась, а если распогодится, мне еще придется ставить грот.

Ел я по-прежнему с аппетитом. Думаю, дело здесь не только в том, что я много работал и мало спал. Моему организму не хватало калорийной пищи, к которой он привык. Правда, энергия моя от этого не уменьшалась, я, по сути дела, даже никогда не уставал по-настоящему, и разум мой сохранял свою ясность, но иногда я чувствовал, что слабею.

Уже несколько вечеров я замечал, что из глубины моря на поверхность поднимаются какие-то фосфоресцирующие пятна, и решил, что это скопления крохотных живых существ, а именно креветок:

отдельные особи я находил по утрам на палубе. Если верить карте, глубина океана достигала здесь примерно четырнадцати тысяч футов.

Утро выдалось прекрасное, дул ровный и сильный пассат. Он пригнал с горизонта тучи, они пытались удержаться на одном месте и воздвигнуть в воздухе замки, но ветер безжалостно заставлял их двигаться дальше. С начала моего плавания хороших дней было мало. В основном штормило.

Запись в вахтенном журнале 30 августа 1963 года

2°40' южной широты

125°05' западной долготы

Курс вест-тень-зюйд

Я между Маркизскими и Галапагосскими островами. Здесь на протяжении трех тысяч миль нет ни клочка суши. Если бы весь мой маршрут до Сиднея был свободен от рифов и островов! Особенно поблизости от Сиднея, если только, конечно, я туда попаду — с рулями или без них.

К юго-востоку от меня на небе собрались грозные тучи, но над головой сияли звезды. Я сидел у компаса и играл на губной гармонике. Пока что я научился более или менее сносно исполнять четыре или пять мелодий, и они помогали мне коротать время. Лучше всего мне удавался, а может, просто больше всего нравился мотив старинной английской песни "Домой, через океан". Слова к ней я сочинил сам.

Мне виделась сквозь туман и пургу
Далеких стран чудеса
И как я с марса громко кричу:
"Эгей, подымай паруса!"

На запад, на запад, на запад, вперед,
Где солнце спускается в море,
На запад, на запад стремится мой плот,
С упрямыми волнами споря.

Привет вам, стоящие на берегу!
Бродяга, щетиной обросший,
Я мыс Сиднея на днях обогну
И якорь в Австралии брошу.

Устав играть, я принялся петь. А вокруг меня падали летучие рыбы, с глухим стуком ударяясь о крышу каюты. Плот качался, трясся и грохотал. И так семь или восемь месяцев подряд, а то и больше! Говорят, что шум в больших городах действует на нервы, подрывает наше здоровье и даже иногда доводит до безумия... Так ли это, можно было бы проверить на моем плоту. Вслушиваясь в звуки, издаваемые им при различной погоде, я пришел к выводу, что они включают все оттенки негармоничных, невыносимых, сводящих с ума и даже смертоносных шумов. Иногда они наводили страх даже на Кики и Авси — кошки в ужасе начинали метаться по плоту.

Небо почти безоблачное, ярко светит солнце. Волна довольно высокая, со значительным накатом. С гребня вала плот соскальзывает во впадину между волнами, которая представляется мне долиной протяженностью не меньше мили. Я ясно различаю глубоко под водой тела акул, они кажутся мне коричневыми, а на самом деле серые. Обычно акулы держатся в двадцати — пятидесяти ярдах от плота и избегают приближаться. Даже не видя хищников, я ощущаю, что они поблизости,

и в конце концов нахожу их глазами. Неторопливыми легкими движениями они рассекают волны, почти не меняя скорости, в нескольких футах от поверхности воды и изредка высовывают наружу спинной плавник.

Иногда они пулей выскакивают вверх, подобно спортсмену, взлетающему на доске на гребне волны. К плоту их привлекают больше всего семьи корифен, нашедшие себе под ним более или менее безопасный приют. Рыбы сопровождают меня уже несколько тысяч миль и стали моими добрыми знакомыми. Я даже знаю их привычки. Маленькие корифены, например, решаются выйти из-под плота, только когда море спокойное и вода совершенно чистая, и не удаляются от него больше чем на несколько ярдов. Мне удавалось выловить только тех корифен, которые приплывали издалека и не научились еще избегать крючка. Рыбу, которую я не успевал съесть, я вялил на солнце: авось пригодится!

Накануне я видел, как, стараясь уйти от преследования корифены, летучая рыба взлетела почти как птица, оставив от несколько наклоненного туловища все свои плавники. Большой грудной плавник помогает ей скользить, остальные — сохранять равновесие и изменять направление движения. Самые крупные из летучих рыб, которых я находил на палубе, достигали в длину четырнадцати дюймов. Это красивая рыба, напоминающая обтекаемой формой реактивный самолет, с подвижным туловищем голубоватого цвета, прозрачными крыльями и серебристо-белым брюшком. Ее большие, как и у корифены, глаза напоминают черные жемчужины. У акулы же, наоборот, маленькие, глубоко посаженные глазки желто-гнойного цвета, выглядывающие из узких прорезей на совкообразной голове.

Запись в вахтенном журнале 3 сентября 1963 года

*Счислимое место
3°30' южной широты
130°00' западной долготы
Курс вест-тень-зюйд
Ветер ост-норд-ост*

*Прошел от Кальяо около четырех тысяч миль.
Нахожусь на меридиане острова Питкерн, который
лежит на тысячу триста семьдесят миль южнее.*

Кики и Авси стали неразлучны. Авси быстро растет. Он, по-видимому, породистый котенок, на его плечах я явственно различаю узелки мускулов. Впрочем, у него и все тело на редкость крепкое, может быть, потому, что ему приходится все время напрягаться, чтобы удерживать равновесие.

Самое веселое время для моих кошек — лунные ночи; море тогда кажется покрытым серебристыми холмами, и корифены, подобно огненным стрелам, вылетают из-под плота и, обезумев от окружающей их красоты, стараются допрыгнуть до месяца. Авси повзрослел и что ни день дерется с Кики, смотреть на них — истинное удовольствие. Обе кошки — прирожденные борцы. Правда, каждое состязание, даже очень ожесточенное, кончается самым дружественным образом — Кики с головы до ног облизывает Авси.

Несколько дней назад я сделал временное рулевое устройство с блоками и таями, оно помогло мне пережить бурную ночь. К сожалению, даже самый крепкий канат от непрерывного движения по блоку взад и вперед перетирается за один день.

Запись в вахтенном журнале 6 сентября 1963 года

*3°31' южной широты
134°15' западной долготы
Курс вест*

Ветер зюйд-ост

Был яркий солнечный день. Вдруг мне почудилось, что я уже в Сиднее. Вот я бросил якорь и поднялся на пирс. Навстречу мне спешит мой друг с серьезным и печальным выражением лица. "Как Тэдди?" — спрашиваю я, встревоженный его видом. Он, помедлив секунду, отвечает: "Тэдди умерла. Она попала в автомобильную катастрофу". Я потом никак не мог отвязаться от этой картины — настолько реально она мне представилась. Неужели Тэдди умерла? Не может быть, это просто игра воображения. Или начинает сказываться одиночество? Тэдди еще больна и слаба, в этом я не сомневался, твердо веря, что мои телепатические контакты с ней не плод фантазии. Она больна, может быть, даже борется за свою жизнь, но в автомобильную катастрофу я не верил. Тем не менее много недель передо мной с необычайной ясностью вставал образ друга, встречающего меня в Сиднее с печальной вестью.

Мне захотелось сделать на ужин картофельные оладьи — дело нелегкое при высокой волне и качке. Я выбрал три большие картофелины, вымыл, прямо в шелухе натер на терке, добавил немного муки, стручок перца, тмину, щепотку горчицы и, как всегда, не пожалел чесноку. Лучший мой примус был опять в неисправности, его приходилось все время подкачивать, но это не охладило мой пыл, тем более что я с утра не ел ничего горячего, да и утром с трудом выжал из примуса чашку кипятку для чая. Сковорода, грязная, жирная, заржавелая, висела на гвозде на внешней стенке каюты. Я не мыл ее с начала плавания, это делали за меня брызги, долетавшие сюда при северном ветре. Я положил на сковороду кусок масла и, когда оно закипело, вылил смесь. Готовил я, стоя на коленях — иначе я не помещался в крошечном закутке, — и давно

набил на них мозоли, так как носил только шорты. Брюки мешали бы мне передвигаться по плоту, взбираться на реи и работать со снастями.

Только оладьи начали подрумяниваться, как до моего слуха донеслось хлопанье паруса. Я оглядел сковороду, примус и разложенные вокруг кухонные принадлежности — авось примус не перевернется и не наделает пожар, выскочил на палубу и схватился за штурвал. Плот не сразу повиновался, но наконец повернулся, парус перестал хлопать, и мой "корабль" снова стал качаться и подскакивать на фордевинде.

В каюте за это время воцарился хаос. Примус погас, сковорода валялась вверх дном рядом. Но голод не тетка — я подобрал оладьи, помазал их медом и съел. Ничего вкуснее я в своей жизни не пробовал! Затем я снова разжег примус, накалил сковороду и положил на нее масла и картофельную смесь. Увы! Все повторилось сначала: опять мне пришлось выскочить на палубу, а когда я возвратился, то обнаружил такую же картину. Это меня не смутило, и я проглотил вторую порцию недожаренных оладий. Еще раз разжег примус, и все пошло было как по маслу, но тот же зловещий хлопающий звук на палубе отвлек меня от приятного занятия. Теперь, однако, мне не удалось выскочить так же поспешно, и плот успел стать против ветра. Когда я вернулся в каюту, уже почти стемнело, но я был голоден сильнее прежнего и не поленился зажечь лампу и начать все сначала, тем более что тертой картошки еще оставалось много. Последнюю оладью я доедал, сидя у двери и глядя на звезды. Картошка сделала свое дело: мною овладело ощущение почти восторженного счастья.

Запись в вахтенном журнале 11 сентября 1963 года

03°22' южной широты

140°10' западной долготы

Курс вест-тень-зюйд

Четыре тысячи пятьсот семьдесят миль от Кальяо. Проверяя свое местоположение по карте, я убедился, что нахожусь в трехстах тридцати милях к северу от острова Нукухива, входящего в группу Маркизских островов, то есть значительно дальше на север, чем предполагал. Сильный зюйд-ост не позволял мне вернуться назад. В 1954 году я пересек 140-й меридиан на широте 5°38', всего в ста девяноста милях от Нукухивы. Тогда я считал, что прошел половину пути, и, готовясь к последнему этапу путешествия — прибытию в Паго-Паго, — взял курс на вест-зюйд-вест. Сейчас меня очень беспокоили почти бесполезные рули, и я со все возрастающей тревогой рассматривал карты: впереди атоллы и рифы, хотя еще несколько тысяч миль мне, кажется, ничто не угрожает. Ближайший риф — риф Филиппо — находится в шестистах или восьмистах милях, на 5°30' южной широты. Буруны вокруг него тянутся на целый градус к югу. Я надеялся пройти к югу от рифа, если только направление ветра переменится.

Несколько дней мне не удавалось поймать ни одной корифены. На рассвете я осветил фонариком палубу, но она была пуста. Тут я заметил, что Кики припала к рыбе; кошка уже успела наполовину уничтожить ее. Я отнял у нее остатки, приласкав взамен, нацепил на крючок и забросил леску, подняв ее повыше, чтобы она ударилась о воду с шумом и привлекла таким образом корифен. Было еще очень рано, море лежало темное и спокойное. Не клюет... Я вытянул леску и забросил снова... Слишком еще темно для корифен. И тут клюнуло... Да как! Я чуть не упал за борт. Моя добыча кидалась во все стороны, все время меняя направление, стараясь высвободиться. Корифены, попавшись на крючок, ведут себя как тигры в клетке, но такого я еще не видел. Рыба пришла прямо-таки в неистовство. И тут я понял почему: за

корифенами виднелась большая темная тень — акула. По-видимому, корифена, глотая приманку, знала, что ее преследует акула, но была уверена, что сможет уйти. Теперь акула настигла бедняжку. Я попытался вытащить рыбу, но акула опередила меня: туго натянутая леска мигом ослабла, на ней осталась одна окровавленная голова. "Будет мне приманка для акулы", — подумал я, собираясь вытащить голову, но тут мелькнула еще одна тень и леска на секунду снова натянулась. Вторая акула отхватила голову вместе с крючком. Три раза пробовал я забрасывать летучих рыб, два раза корифены клевали, но акулы похищали добычу прямо у меня из-под носа. Их было великое множество, весь день они шли рядом с плотом, двигаясь вперед неумолимо и спокойно, как волны. Корифены не показывались, но я знал, что мои приятели скрываются в тени плота.

Утром я заметил птицу; совершенно одна, она летела необычайно высоко. В бинокль я рассмотрел, что это альбатрос. Он шел на зюйд-тень-вест, скорее всего, с Галапагосских островов к бурным пятидесятым широтам и дальше. Еще мальчиком, огибая на "Генриетте" мыс Горн, я видел, как альбатросы неподвижно висят в воздухе, часто не выше полуюта. Мне, любопытному юнцу, их полет казался почти чудом: сколько я за ними ни наблюдал, я ни разу не заметил, чтобы они пошевелили крылом. Они просто скользили по воздуху, как опытные спортсмены скользят на санках по ухабам длинного горного склона. А наблюдать за ними я мог сколько угодно: в конце каждой вахты я шел на корму, вынимал из ящика катушку с лаглинем, вставал лицом к кильватерной струе и, подняв катушку высоко над головой, травил лаглинь. У борта стоял матрос с песочными часами в руках. Как только одно отделение пустело, а второе наполнялось, я по его приказанию останавливал лаглинь. Матрос смотрел на последнее деление и так определял скорость судна.

На высоких скалах Галапагосских островов и на других уединенных утесах альбатрос кладет яйца. Может быть, за весь год он садится на сушу только единожды — для спаривания. Позади у него тысячи миль непрерывного полета: раз за разом опоясывал он земной шар в самых беспокойных местах, никогда не садясь на воду: взлететь он может, только бросившись в воздух с края утеса.

Вылупившийся из яйца птенец смотрит на солнце и прослеживает его путь. Ночью он наблюдает за медленным движением звезд по темному небосводу. Ночь за ночью смотрит он на них из своей каменной колыбели, и в конце концов они прочно укладываются в его памяти, как вехи, которые будут вести его через моря. Через несколько недель он подбирается к краю скалы, кидается вниз, в пустоту, и начинает лететь. Так король путешественников вступает на свой путь.

Мне рассказывали люди, бывавшие на Галапагосских островах, что альбатросы поднимают птенцов высоко в воздух, а потом кидают вниз и летят рядом, пока малыш не расправит крылья и не полетит.

Вчера вечером я было задремал у штурвала, но проснулся от того, что какая-то рыба билась о палубу. Звук был необычайно громкий. Может, это летучая рыба? "Надо поскорее захватить гостью, пока ее не смыло обратно в море", — подумал я. При свете молодого месяца я увидел, однако, не летучую рыбу, а змею. Серебряной полоской она извивалась и сворачивалась на палубе. Уж не галлюцинации ли у меня? Я включил фонарик. У змеи длиной около трех с половиной футов была отвратительная голова с выступающей челюстью, типичная для барракуды. Из открытой пасти торчали в разные стороны четыре непропорционально длинных зуба — два вверху и два внизу. Я схватил змею сзади за горло и бросил в ящик, чтобы утром рассмотреть как следует. Подобное

существо упало ко мне на палубу в 1954 году. Позднее я узнал, что это была сельдевая акула. На следующее утро я сфотографировал "змею". В желудке у нее я обнаружил много маленьких летучих рыб, длиной не больше дюйма.

Последние дни море буквально кишело такими рыбками в один-два дюйма, и молодые корифены под моим плотом пировали с утра до вечера. Когда бы я ни посмотрел на воду, я замечал рябь от их глотательных движений. Мальки летучей рыбы, подымавшиеся в воздух и рассеивавшиеся во все стороны, напоминали серебристые осколки стекла под порывом ветра. В воде они, однако, двигались еще медленно и легко становились добычей своих преследователей. Летучих рыб были миллионы, каждое утро они покрывали палубу слоем в несколько дюймов.

Кики и Авси ели из одной посуды, но Кики, маленькая леди, неизменно отступала в сторону, как только в миску всовывал свою мордочку Авси, по-видимому, с молоком матери всосавший истину: "Кто смел, тот и съел". Может быть, материнский инстинкт заставлял Кики уступать очередь котенку. Когда Авси, насытившись, уходил, она возвращалась и не спеша кончала трапезу. Ела она сравнительно мало. Все, что оставалось, Авси подбирал ночью.

Мне опять пришлось работать за бортом. Как всегда, я обвязался веревкой — отнюдь не лишняя предосторожность: как я ни цеплялся за руль руками и ногами, меня дважды относило волной в сторону. Один раз меня перевернуло с такой силой, что я не смог удержать в руках подшипники. В этот день вокруг вертелись четыре акулы, и тот, кто не знает их нрава, мог бы подумать, что они настроены любезно и даже дружелюбно. У меня, к сожалению, не было приманки для большого крючка, а то бы я выловил одну хищницу и скормил остальным. Правда, здешние акулы весьма

привередливы. Я наблюдал, как они иногда часами плывут около моей приманки — куска вяленой корифены, почти касаются ее носами, но не заглатывают. Эта разновидность акул — глубоководные разбойники сероватого цвета — обычно не питается падалью.

В это время мой плот шел древними путями, по которым пересекали Тихий океан маркизцы, самоанцы, таитяне, гавайцы... Здесь задолго до европейцев плавали их большие двойные каноэ, здесь они гибли в штормы. По мнению некоторых ученых, на этом месте некогда был огромный континент. Однажды произошло землетрясение такой силы, что, казалось, он вот-вот распадется на части. Много веков продолжались яростные извержения, они выбрасывали к небу огромные массы земли, наполняя все вокруг дымом и пламенем, а когда закончились, населенный миллионами людей континент с развитой цивилизацией, городами и пашнями оказался погребенным на дне Тихого океана. По моей карте, глубина океана подо мной составляла более пятнадцати тысяч футов.

Запись в вахтенном журнале 17 сентября 1963 года

Счислимое место

5°30' южной широты

149°24 западной долготы

Курс вост

Ветер зюйд-ост

Ночью был шторм, солнце вошло на багряном небе. Море довольно бурное, небо на юго-востоке затянуто тучами.

Последние несколько дней я находился в подавленном, тревожном состоянии, весьма для меня необычном. Началось это у меня с неделю назад, а

ночью мне было особенно не по себе. Может быть, причиной послужило то, что положение мое не из блестящих — рули сломаны, погода становится все хуже, до Австралии еще плыть и плыть, а главное, я не знаю, как Тэдди.

День-два дул норд-ост, и я смог взять курс на юг, но потом снова задул зюйд-ост. До рифа Филиппо еще триста сорок миль.

Однажды ночью мне вспомнился разговор с тремя матросами, выводившими плот из Кальяо.

— Вы и в самом деле отправляетесь в одиночку? — спросил один из них, хотя во всей Южной Америке не было человека, который бы этого не знал.

— Я беру двух кошек, — ответил я, улыбаясь.

— Почему вы решили плыть в одиночестве?

— Есть вещи, которые человек должен делать один.

— На моих глазах из Кальяо выходили три или четыре плота. На них было три, четыре, даже шесть человек команды, на "Кон-Тики", например, шесть.

— Знаю.

— Для одного слишком много работы.

— Да уж, при шквалистом ветре с гротом нелегко будет управиться.

— Я говорил с ребятами, которые ходили на плотах, все в один голос твердят, что хлопот не оберешься.

— Это верно, на плоту с прямым парусным вооружением не посидишь.

— К тому же сейчас самое плохое время года.

— Раньше мне никак не удалось выбраться.

— И вам в самом деле семьдесят лет?

— Да.

— Мой отец совсем старик, а ему всего лишь пятьдесят два.

— Пятьдесят два года — да это чуть ли не детский возраст! — огрызнулся я, и все трое расхохотались.

Тому, кто говорил, было лет двадцать пять, а его товарищам — двадцать и двадцать один.

Я никогда не ощущал своих лет и, видя, как с годами меняется мир, стареют и начинают болеть люди, никак не мог понять, почему я остаюсь прежним? Может быть, это объясняется моим образом жизни и мыслей? Во всяком случае, я еще ни разу в жизни не испытывал настоящей усталости, которая заставила бы меня подумать, что пора успокоиться, усесться в уютное кресло или ограничиться прогулками вокруг дома. Энергии, физической и умственной, жизнелюбия было во мне не меньше, чем в молодые годы.

Некоторые полагают, что прежде, чем вонзить зубы в свою добычу, акула переворачивается на спину. Я никогда ничего подобного не замечал, хотя тысячи раз наблюдал акул на расстоянии всего лишь нескольких футов. Мне кажется, они умерли бы с голоду, если бы им приходилось переворачиваться на спину перед нападением на ничего не подозревающую корифену или тунца — последний, хоть и кажется неуклюжим, движется со скоростью пули. Заметив на воде неподвижный предмет, акула несколько раз его обнюхивает и только после этого вгрызается в добычу, судорожно вздрагивая всем телом. Если находка велика — если, например, это труп кита, — акула выдирает из него куски, делая всем туловищем отвратительный резкий выверт, который неизменно напоминает мне движение дровосека, вырубаящего колоду из бревна.

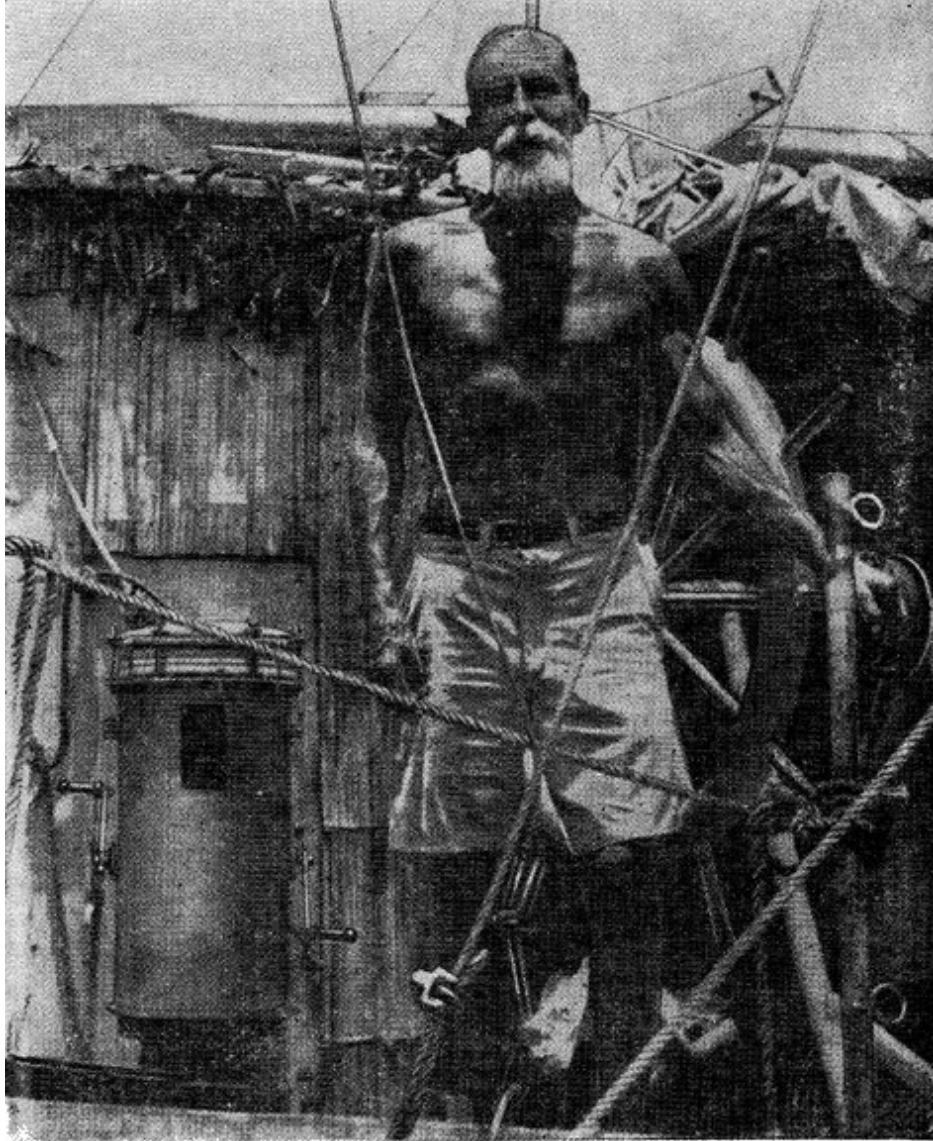
В 1948 году Тэдди и я шли на шлюпе из залива Гуантанамо в Майами. Почти сразу мы попали в штиль. Течением шлюп постепенно сносило к берегу, и нам пришлось бросить якорь примерно в тридцати саженях от него. Накануне два дня подряд бушевал шторм, теперь же вода успокоилась и была на редкость прозрачна, и мы заметили поблизости крупную самку дельфина, учившую своего детеныша кувыркаться и

нырять. Появилась акула, за ней еще несколько, и хищники принялись кружить около матери с детенышем. Акулы достигали в длину десяти — двенадцати футов и даже больше. Самка попыталась уйти, но акулы взяли ее в кольцо и напали на малыша. Мать старалась отогнать хищников, кидаясь от одного к другому. Их было не меньше пяти или шести — сосчитать точно мы не могли, так как вода окрасилась кровью. Растерзав детеныша, акулы атаковали мать. Пытаясь уйти от убийц, она выпрыгивала из моря — окровавленная туша с повисшими на боках акулами, которые извивались, как разъяренные демоны, и отрывали от ее тела куски. Внезапно волны прорезал другой дельфин. Он пронесся мимо акул, дотронулся до обреченной самки и исчез. "Самец", — подумали мы. Истерзанная самка еще сопротивлялась, когда море вспенила цепочка дельфинов — голов десять или даже пятнадцать. Они напомнили мне задыхающуюся на скаку лошадь, мчащуюся с выгнутой шеей и развевающейся гривой. Они врезались в стаю врагов, действуя головой, как тараном. Одних акул они заставили уйти в море, других оттеснили на мелководье, откуда их выбросило на берег. Ночью мы продолжали стоять у берега и несколько раз слышали рядом с лодкой рев дельфина. "Самец оплакивает свою подругу", — сказала Тэдди.

IX

Море было спокойное, и плот шел более или менее по курсу. Я закрепил штурвал и, понаблюдав немного за компасом, предоставил плоту идти самому. Он рыскнул, затем успокоился и вернулся на прежний галс. Таким образом я уже потерял не один десяток миль, но это стало для меня привычным. Мне следовало идти вест-тень-зюйд, чтобы попасть в Австралию, до которой, казалось, было не ближе чем до Солнца. Но я имел всё необходимое, чтобы преодолеть это расстояние, — продовольствие, воду, терпение... Я мог петь, со мной были два моих спутника — одним словом, я не унывал.

На запад, на запад, на запад, вперед,
Где солнце спускается в море...



На запад, на запад, на запад, вперед!

Я сидел, прислонившись спиной к каюте, на небольшом ящике — мне его подарили в Лиме для Кики и Авси, но они предпочитали спать где угодно, только не там. День выдался жаркий, работы было много — я латал паруса, боролся с переменчивым ветром, чинил рули, и теперь я то и дело клевал носом. Вдруг я очнулся. Передо мной лежала земля, не очень близко, правда, но я явственно различал все детали, как если бы смотрел в сверхмощный бинокль. Я видел деревни,

людные города, шоссейные дороги... Я видел Нью-Йорк с возвышающимися над ним квадратными башнями и рядами квадратных коробок, таких высоких, что они заслоняли земле весь свет. Я видел тысячи поездов, мчащихся по железным туннелям глубоко под землей, перевозящих в пыли и мраке миллионы пассажиров. Я заглядывал внутрь домов и видел бледные лица мужчин и женщин, искаженные страхом... Рак!

Когда мы жили в Калифорнии, я однажды пошел к соседу за виноградом. Я и раньше бывал на ферме и хорошо его знал. Хозяин работал в саду, и жена со слезами на глазах рассказала, что жить ему осталось недолго: он болен раком. Нам тоже угрожала эта болезнь — от нее умерли мои отец и мать, а у Тэдди отец и несколько родственников. Во всем мире не найдется, наверное, семьи, которую бы она не затронула. Я пошел на виноградник, где возился фермер, для начала поговорил с ним о погоде, а потом сказал, что читал недавно, будто рак можно вылечить или, во всяком случае, приостановить, если питаться одним виноградом. Я и раньше об этом слышал, сказал я. Правда, случаев полного излечения я не знаю, но развитие опухоли приостанавливается, она не дает метастазов.

— Вы ничего не теряете, — сказал я. — Виноград у вас свой, и какой! Такого во всем мире не найти! Стоит протянуть руку, и вы срываете гроздь, достойную королей, еще теплую от солнца и чуть ли не умоляющую, чтобы ее съели! В ваше тело вливается как бы живое золото.

Я рассказал фермеру, что читал о больших дорогих санаториях в Швейцарии, Австралии и России, где рак лечат или приостанавливают виноградом.

Он поднял ко мне иссеченное морщинами лицо, с которого не сходило выражение обреченности, и спросил с горечью:

— А что для этого нужно — просто съесть каждый день по кисти винограда?

— Нет, вы должны перейти на один виноград — ни кофе, ни чая, ни табака — один виноград.

— Об этом не может быть и речи, — проворчал он, и лицо его стало жестким.

— Рано или поздно врачи научатся излечивать рак, — настаивал я. — Недаром в это дело вкладывают миллионы долларов. Но пока надо во что бы то ни стало испробовать все, что может приостановить или замедлить болезнь.

Мой собеседник не проявил к моим советам ни малейшего интереса.

Я услышал хлопанье паруса, поднялся и пошел взглянуть на компас. Ветер немного отошел. Я снял крепления со штурвала и повернул его.

На следующий день было душно и необычайно жарко. Ветер был слабый, море еле колыхалось, и мне казалось, что погода должна испортиться. Уже несколько ночей месяц окружало кольцо, а вчера солнце плохо всходило. Меня не раз спрашивали, почему я не беру с собой барометр. А зачем он мне? Если даже я буду знать, что приближается буря, то спрятаться мне все равно некуда, а если бы и оказалась поблизости гавань, то с неисправными рулями было бы очень трудно пристать к берегу. Небо достаточно точно сообщало, какая предстоит погода, и тут уж от меня зависело не оплошать и быть наготове. Ураган всегда давал знать о своем приближении, а если я видел, что на меня летит шквал, то мог спустить грот за несколько секунд. Я приспособился одним-двумя движениями травить и выбирать шкоты, галсы и брасы.

Запись в вахтенном журнале 24 сентября 1963 года

Счислимое место

*6°15' южной широты
149°46' западной долготы
Курс вост
Ветер зюйд-ост*

Вот уже два дня я не произвожу обсервации. Судя по счислению, я нахожусь в сорока пяти милях к востоку от бурунов рифа Филиппо, и если сильный зюйд-ост продержится день-другой, я могу сесть на мель, и тогда мое путешествие придет к концу. Уже две недели пытаюсь вырлиться южнее. Я нахожусь приблизительно в шестистах семидесяти пяти милях к северу от Таити.

Сегодня наблюдал, как Кики ходит по палубе. Она осторожно сделала шаг, остановилась, понюхала воздух, оглянулась и прислушалась, как если бы раньше не была не только на плоту, но и вообще на земле и только что спустилась с какой-то неведомой планеты. Около ведра с морской водой она стала на задние лапки, понюхала воду и начала лакать. Три раза она делала передышку и снова принималась лакать, пока не напилась. В ее миске было сколько угодно пресной воды, не иначе как она, подобно мне, пила морскую воду из гигиенических соображений. И Авси тожепил морскую воду, хотя в этом, казалось, не было никакой необходимости. А поскольку Кики была чрезвычайно разборчива в еде и питье, я думаю, она знала, что делает. Что же до Авси, то он, по-видимому, испытывал прямо-таки потребность в морской воде, он даже облюбовал себе местечко на переднем понтоне, откуда мог пить прямо из моря, а при виде надвигающейся волны быстро отступать на палубу.

На ужин у меня было керри с картошкой. Керри — моя излюбленная еда, впервые я ее попробовал больше полувека назад на "Бермуде". Это кушанье я готовил не реже двух раз в неделю. Будь у меня лук, я не променял бы керри на яства, приготовляемые в ресторане

"Уолдорф" специально приглашенным из-за границы поваром, но, к сожалению, лук у меня кончился.

Плот эскортировала новая группа серых пятнистых акул, и корифены не показывались из-под плота. Выносливые и сильные, акулы могут плыть очень долго, так долго, как, может быть, очень немногие обитатели моря. Это, а также устрашающие зубы и хитрость делают их настоящими властителями морей. Я часами наблюдал, как они лениво, без малейших усилий, словно бы во сне, рассекают волны. Но грязноватые глаза на тупорылой голове непрестанно движутся из стороны в сторону, и попробуй я опустить за борт руку или ногу, она бы вмиг превратилась в кровавый обрубок. С акулами можно сравнить только альбатросов: последние тоже без видимых усилий скользят в своей стихии и могут неделями обходиться без еды.

Наблюдая за тем, как день за днем, месяц за месяцем спокойно и уверенно рассекают волны обитатели поверхностных вод, нетрудно было предположить, что они, например акулы и корифены, с момента появления на свет видя над собой звезды, пользуются ими как маяками на пути через моря.

Человек часто ищет одиночества, чтобы разрешить тайну бытия, но неизменно возвращается к людям. Смертный не может долго оставаться один и не потерять рассудок. Он создан из мяса и костей и нуждается в обществе себе подобных. Каждую секунду своей жизни он что-то получает от других людей и что-то им отдает. С момента появления человека происходил и происходит непрерывный обмен, который служит цепью, связывающей всех людей воедино. Даже отшельник, укrywшийся в пещере, не теряет этой связи: все его помыслы направлены к человеку и к Богу, похожему на человека.

Чувствуя рядом присутствие другого, человек легче идет на смерть. Осужденному легче стоять перед

виселицей, если палач шепнет ему доброе слово или из толпы зрителей раздастся ободряющий возглас. Он способен даже улыбнуться шутке. Если дружеская рука дотронется до его плеча, ему начинает казаться, что в его сердце все человечество, что он не умрет навечно. Может быть, за несколько часов до этого, ожидая в жутком одиночестве своей камеры, когда дверь откроется в последний раз, он в ужасе вскрикивал при одной мысли о том, что его ждет, или старался разmozжить себе голову о стену. Человек не может без людей, и если даже он когда-нибудь достигнет звезд, то и там скоро окажутся ему подобные. Один, человек не может найти спасение. Нирвана — это прибежище слабых. Это я понял, находясь в океане, на пороге бесконечности.

Я шел мимо рифа Филиппо. Судя по счислению, я находился очень близко от него. Ночь застала меня на мачте: я старался высмотреть в бинокль буруны.

Рули снова нуждались в починке. Я связал несколько оставшихся у меня бамбуковых стволов, так что получилось что-то вроде ширмы, к концам прикрепил куски железа и опустил в море, надеясь, что это сооружение защитит меня от акул. Очень ненадежная конструкция при высокой волне, но лучше я ничего не мог придумать. Гарпун я положил так, чтобы он был под рукой. Когда работа близилась к концу, акула футов десять в длину решила пробраться сквозь мою непрочную ограду и полакомиться, скорее всего, одной из моих болтавшихся в воздухе ног. Акула проявила необычайную настойчивость. Тогда я взобрался обратно на палубу, разрубил на куски летучую рыбу, упавшую ночью на палубу, куски завернул в вяленое мясо корифены, сверху помазал кровью, сочившейся из моего расцарапанного плеча, и насадил приманку на крючок. Десятифутовая приятельница сразу проявила

недюжинный интерес, а почуяв запах крови, пришла в такое волнение, что могла бы проглотить коробку с гвоздями. Ключувшую акулу я подтянул к борту и привязал к корме так, чтобы она тащила за плотом в наизидание своим не в меру прытким товаркам. После этого я снова спустился за борт и закончил починку.

С тех пор как первый плот или первое каноэ отошло от родного берега на поиски неизведанных стран, свежая пища на борту судна всегда была для мореплавателей главной проблемой. Цинга, вызываемая недостатком свежей пищи, — одна из самых страшных болезней. В запущенных случаях тело больного превращается в отвратительную массу, покрытую красными пятнами, малейшее прикосновение заставляет его вскрикивать от боли. Холера, желтая лихорадка, все недуги, опустошающие земной шар, кажутся не такими уж страшными по сравнению с этим бичом морей.

Я считаю, что, кроме лимонного сока, от цинги может спасти ежедневное употребление получашки морской воды. Я читал, что капитан одного американского китобойца уберег свою команду тем, что заставлял ее каждый день есть кислую капусту. Он запас ее несколько бочек. Многие капитаны брали на борт больших черепах с Галапагосских островов и держали их живыми. Свежее мясо сохраняло морякам здоровье.

На завтрак я сегодня ел порошок с мясом корифены, заправленный мукой. Иногда я в этот суп добавляю тертую картошку или измельченный сухарь.

Однажды в безветренную погоду, когда плот переваливался с борта на борт, не продвигаясь ни на дюйм вперед, я подумал, что мне еще идти и идти... Вот уже четыре дня ветра не было или почти не было, а ночью со всех сторон один за другим налетали шквалы. И вдруг какой-то голос, заполнивший, казалось, все

пространство и проникший до самого мозга костей, властно приказал: "Уходи, тебе это не под силу, уходи!" — и словно приковал мой взгляд к борту плота.

Неужели жизнь опостылела мне? По-видимому, сказались бесконечная работа, бесконечная бессонница, бесконечные починки рулей, которые все равно отказывались служить. У меня были плот, паруса, запасы воды и провизии, у меня была цель, но я дрейфовал и, видимо, так и останусь дрейфовать посреди океана, вдалеке от берега, к которому я хотел пристать. Оправившись от первого шока, я поборол этот голос. Я даже улыбнулся ему, но тот факт, что он произнес роковые слова, заставил меня призадуматься. Это было нечто совершенно новое. "Ты, брат, однако, уязвим, — сказал я себе. — Ты и не знал, какой бес-искуситель сидит в тебе".

На следующий день раскаленный плот продолжал качаться под безжалостными лучами солнца, и голос раздался снова. "Уходи!" — приказал он совершенно спокойно, и небо как бы подтвердило его слова. После этого голос раздавался каждый день, и каждый день я давал ему отпор, а под конец даже стал смеяться над его нелепым предположением, что я могу проявить слабость. Я понимал, что этот призрачный голос — порождение одиночества, на которое я обрек себя сам, что при соответствующих условиях он будет возвращаться, как зубная боль или резь в животе. И примирился с ним и не страшился его — даже когда слышал его несколько раз на день. Но я уже понял, что путешествие изматывает меня до предела.

Я видел, что на меня большой черной тучей надвигается шквал, но решил пока не спускать грот, чтобы успеть проскочить еще несколько миль. Погода и до этого была неважная, я много раз подымал и опускал грот и, конечно, порядком устал, но тем не менее готов

был использовать даже малейшую возможность двигаться вперед. Шквал был совсем близко, я стоял, положив руки на штурвал, чтобы повернуть его при первой же надобности, и тут раздался голос Тэдди. Она стояла передо мной, выражение лица у нее, как всегда, было спокойное, и она своим обычным ровным тоном отчетливо произнесла: "Ты, вижу, готов встретить шквал". Я ничуть не удивился: Тэдди как бы явилась из пустоты, чтобы успокоить меня своим присутствием. Ее голос продолжал звучать в моих ушах, пока я не схватился с ветром. Вскоре мне пришлось спустить грот и головой, руками, всем телом удерживать его, чтобы подчинить себе и закрепить на рее.

Я не замечал в своем организме никаких патологических изменений. По-видимому, я был совершенно здоров. После трех месяцев полного одиночества посреди океана я был энергичен, вынослив, силен, мыслил трезво.

Правда, иногда мною овладевала на несколько дней вялость, но я объяснял ее неполноценностью питания. Сохранять форму мне, наверное, помогало ежедневное питье морской воды, обтирание и похлопывание себя кулаками с головы до ног. Этот массаж проникал до всех мышц, артерий, связок и внутренних органов. Кроме того, ощущая слабость, я старался глубоко дышать, но все это, конечно, не могло заменить правильного питания — главного источника жизни. Недаром говорят, что человек есть то, что он ест.

Я пришел к выводу, что карты, изданные Гидрографическим управлением США, довольно точны, хотя, конечно, не отражают той фантастически изменчивой и бурной погоды, которая все время была моим уделом. Если выдавался погожий денек, это был настоящий праздник. Иногда ночью я просыпался в полной уверенности, что налетел ураган, но

оказывалось, что это всего лишь Кики и Авси шуршат сухими листьями на крыше каюты. Мои четвероногие приятели проявляли чудеса ловкости, балансируя во время качки. Однажды мне показалось, что у Кики нездоровый вид, что нос у нее горячий. Кошка лежала на палубе кучкой рыжеватого меха, и мне уже бог знает что пришло в голову. Но тут на ящик, стоявший поблизости, вскочил Авси, увидел Кики и прыгнул ей на спину, словно собираясь растерзать на куски. Кики в мгновение ока ожила, и они провели получасовой сеанс борьбы, подобной которой я, пожалуй, еще не видел. Борьба велась до победного конца и закончилась взаимным облизыванием, призы же, как всегда, были поделены поровну между участниками встречи.

Вдалеке охотились фрегаты, гнездящиеся, по-видимому, на рифе Филиппо или к югу от острова Восток. Я шел курсом вест-зюйд-вест, направляясь к двенадцатой параллели, мимо острова Ракаханга, где погиб Эрик де Бишоп, и острова Манихики, лежащего примерно на 10° южной широты и 161° западной долготы. Правда, от обоих атоллов меня отделяло еще довольно большое расстояние, но мне надо было соблюдать предельную осторожность. К слову сказать, у меня был с собой вахтенный журнал 1954 года, так что я мог сравнивать маршруты обоих моих путешествий.

Плот стал издавать новые звуки. Особенно меня раздражал один, похожий на протяжный стон агонизирующего больного. После долгих изысканий я установил, что он возникает в гнезде мачты. Я, можно сказать, утопил его в масле, но добился лишь того, что стон стал еще отчаяннее. С момента выхода из Кальяо эта адская симфония терзала мой слух все время, и даже кошки иногда с испугом оглядывались по сторонам, опасаясь, что наша посуда вот-вот развалится.

Запись в вахтенном журнале 5 октября 1963 года

10°16' южной широты

155°161 западной долготы

Курс зюйд-вест-тень-вест

Ветер норд-норд-ост

Сегодня ровно три месяца, как я вышел в море. Пройдено пять тысяч семьсот миль. Погода по-прежнему скверная. Не узнаю Тихий — в 1954 году он вел себя совсем иначе.

На рассвете закинул леску. Вскоре клюнула корифена. Ужас и ярость рыбы, попавшейся на крючок, моментально передались мне, как если бы я держал ее голыми руками. Ну и трудно же было ее тащить! Когда до плота оставалось футов десять, не больше, я увидел поблизости еще одну корифену — самца с огромной головой. "Дрались, наверное", — подумал я, но потом сообразил, что это самец, спешащий на выручку своей избраннице. Я вытянул красавицу на борт: открытая пасть с крючком в верхней челюсти, большие прозрачные глаза, полные страха смерти, а рядом в воде — обезумевший самец, бьющийся о понтон в отчаянном усилии выбраться на палубу вслед за своей подругой. Я отступил назад: пусть моя жертва бьется, пока не сорвется с крючка, — я решил даровать ей жизнь. Через секунду она, оставив кусок челюсти на крючке, прыгнула в море и помчалась рядом с самцом, вздымая пену. Во время плавания на вест-индском шлюпе Тэдди не притрагивалась к корифене, если видела ее глаза, когда та умирала и ее роскошные краски блекли.

Возвратился месяц и пролил свой волшебный свет на весь океан и каждую волну в отдельности. Я наблюдал, как с наступлением вечера он медленно подымается по небу, продирается сквозь облака, ничем не замутненный

взбирается на высшую точку, чтобы, спрятавшись в мрачном облаке, постепенно опуститься в море.

Задолго до восхода солнца мои кости сообщали мне, какой выдастся день. Иногда я угадывал погоду по полету птиц или по поведению корифен, по тому, как они выходили из-под плота, прыгали и резвились в волнах. В сумрачные дни, перед шквалом, они по утрам почти не двигались.

Ближайшей ко мне землей были острова Токелау, в восьмистах или девятистах милях к западу, если мне удастся держаться двенадцатой параллели.

Очень часто, стоя у штурвала, я вспоминал стариков, которых я встречал в Южной Калифорнии, на южном берегу Лонг-Айленда, в штате Нью-Йорк или во Флориде. Опустив голову, ссутулившись, они бесцельно бредут к своему концу. Я говорил со многими из них, надеясь, что они прислушиваются к моим советам.

Я мысленно перебирал год за годом семьдесят лет, прожитых мною на земле, а потом скатывал их в один комочек — ничтожную каплю, отпущенную на мою долю из потока вечности. Я мог по желанию то вытягивать годы в длинную ленту, то сжимать их в одну вспышку. Я не испытывал страха в начале жизни и не буду испытывать его, когда наступит естественный конец или я к нему приближусь. Здесь, в этом беспредельном одиночестве, где мир людей теряет свое значение, человек не может не думать о своем конце. Великая трагедия жизни, по-моему, в том, что человек стареет разумом. Наши предки понимали это. Они рано обнаружили, что не может оставаться молодым разум, если преждевременно стареет тело, и, чтобы помешать этому, создали целые системы оздоровления. Но семьдесят лет — это семьдесят лет, сколько я еще собираюсь прожить на земле? Десять, двадцать, тридцать лет? Так мало и вместе с тем так много, ведь в

каждой секунде — частица вечности. Но человек живет, пока он испытывает спокойный экстаз творчества, пока он что-то созидает в меру своего темперамента и способностей. При этом преимущество, конечно, на стороне тех, кто умеет что-то делать руками, ибо руки даны человеку для того, чтобы приносить ему ощущение счастья.

До сих пор дождей, настоящих продолжительных дождей было мало, хотя ливни проходили часто — их приносили шквалы. Только вчера ночью выпал сильный дождь, и я наполнил все мои ведра и сосуды. Утром небо прояснилось, воздух стал сухим и чистым, и пассат погнал высоко по небу облачка, похожие на только что вымытых белоснежных ягнят.

Запись в вахтенном журнале 16 октября 1963 года

11°24' южной широты

159°16' западной долготы

Курс вест-зюйд-вест

Ветер норд-ост

Я нахожусь в ста десяти милях к востоко-юго-востоку от Манихики и примерно в шестистах десяти милях к северу от Раратонги из островов Кука.

В 1954 году английский радиолюбитель с Раратонги — Дуг Каннольд — поймал мое сообщение о том, что на горизонте показались острова Самоа — цель моего плавания, и передал его американскому представительству в Паго-Паго.

Я продолжаю слышать голоса матери и Тэдди, не менее реальные, чем все, что меня окружает, и чем голос, убеждающий меня покончить с собой.

Сегодня качка была настолько сильной, что я не смог взять высоту солнца, хотя прежде делал это с палубы и

с крыши каюты раз тридцать — сорок. К слову сказать, из-за качки мне для более или менее правильного определения широты приходилось каждый день при восходе брать высоту солнца двадцать — двадцать четыре раза.

"Что происходит в мире? — подумал я. — Не включить ли мне транзистор? — До сих пор я ограничивался тем, что проверял по нему часы. — Да нет, пожалуй, не стоит".

Я сидел прямо на палубе на краю плота, опустив ноги в воду. Рядом лежал гарпун на случай, если дерзкая акула отважится подойти слишком близко. Вода была приятно теплая, и, однако, она освежала, тело ощущало ее как целительный бальзам. Легкий бриз приносил живительную прохладу. Я давно забыл про плот и в мечтах своих сидел где-то в Нью-Йорке, Нью-Джерси или Коннектикуте у ручья под нависшей над ним ивою, среди водяного кресса, незабудок и мяты.

Утром я сварил пакет слив и весь день ел их, опасаясь, как бы они в жару не испортились. Я всегда любил сливы. В годы странствий я как-то попал под Сан-Хосе в сад на уборку урожая. Я тряс дерево, и сливы покрывали землю ковром толщиной в фут. На их запах слетелись пчелы со всего света и, одурманенные, жужжали вокруг меня.

Несколько корифен появились около моих ног и явно приняли их за невиданных глубоководных чудищ. Рыбы — дюймов десять длиной — сверкали на солнце, словно бриллианты, только что выпавшие из шкатулки природы.

Вчера Кики поймала морскую птичку, не больше голубя, черную с белыми грудкой и брюшком. Крылья ее в размахе имели дюймов двадцать. Птичка была вооружена грозным клювом в виде иголки длиной около трех дюймов. Птичка присела на крышу каюты отдохнуть, а Кики, внимательно следившая за ней, еще

когда та летала вокруг плота, прыгнула на гостью сзади. Одно молниеносное движение — и птичка безжизненным комком повисла у Кики в пасти. Затем Кики спрыгнула со своей добычей на палубу и, не выпуская ее из пасти, полчаса разгуливала взад и вперед, держа голову выше обычного, к вящему восхищению Авси, который скромно держался в стороне. После этого Кики бросила трупик на палубу и больше не обращала на него внимания.

Я выловил акулу, чтобы съесть ее печень — она содержит ценные витамины, — и вытаскивал крючок из пасти хищницы. Тут я вспомнил о рыбаке из Кальяо, который просил привезти ему зуб акулы.

— А что, он приносит счастье? — поинтересовался я.

— Да, — ответил рыбак.

— Так разве около Кальяо нет акул?

— Сколько угодно. Они попадают в сети и рвут их.

— Так почему бы вам не взять зуб одной из них?

— Мне хочется иметь зуб акулы, которую вы поймаете во время перехода через Тихий океан.

— Чтобы повесить его на шею?

Я знал, что ловцы жемчуга и собиратели раковин часто вешают на шею зуб акулы, полагая, что это отпугивает хищниц.

— Да, я буду его носить, — ответил рыбак и рассказал о двух братьях, которые несколько лет назад ловили раков и крабов между скалами около Кальяо, где вода кишит акулами. Братья ныряли за своей добычей на самое дно моря. Один всегда носил на шее зуб акулы, а другой не верил в приметы. Они никогда не ныряли вместе — один оставался наверху и дожидался, пока другой не покажется на поверхности. Однажды тот, который спустился, не всплыл вовремя наверх, и брат нырнул за ним следом. Он увидел, что вода у дна потемнела от крови и акулы таскают что-то взад и

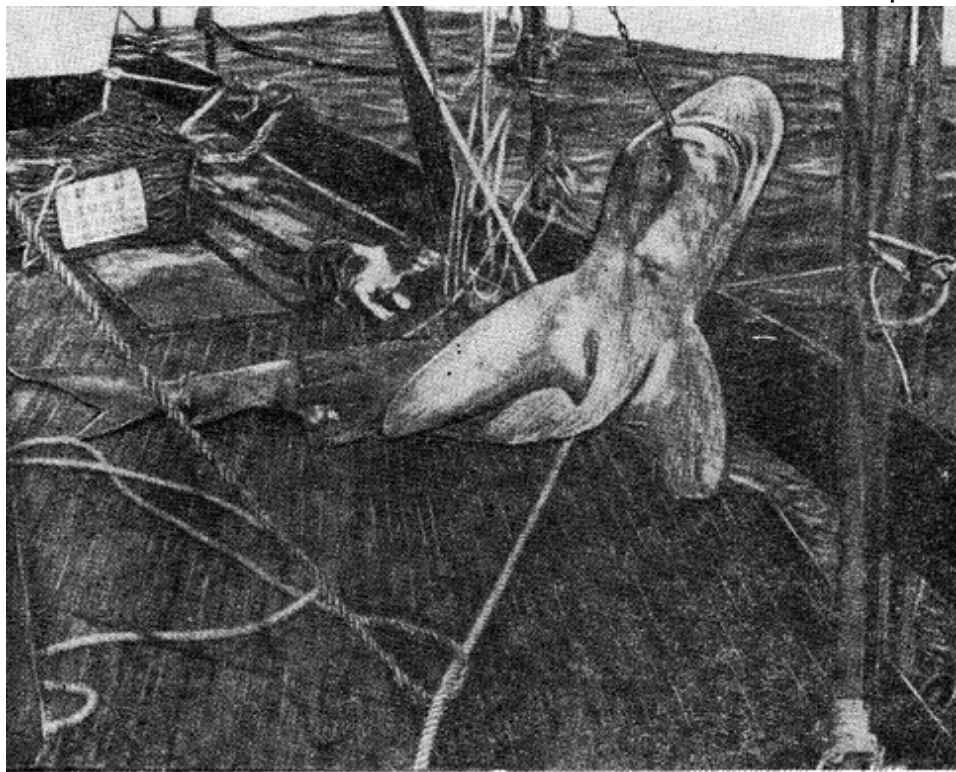
вперед. Это был его брат. Он выхватил нож, отбил тело у акул и поднял на поверхность. Акулы следовали за ним по пятам, несколько раз вырывали тело у него из рук, но в конце концов он все-таки вытащил его на скалы.

— Его тоже укусила акула, он до сих пор прихрамывает, — закончил рыбак. — Теперь он капитан рыболовецкой шхуны в Кальяо.

— Так это у него на шее зуб акулы? — спросил я.

— Si, senior.

Мне пришлось снова спуститься в воду и заняться левым рулем. Пользы от него не было никакой, но я надеялся, что смогу привести его в порядок. До этого я поймал акулу, разрубил на куски и привязал их к корме, чтобы отвлечь от себя внимание остальных хищниц.



Теперь Авси может рассмотреть акулу вблизи.

Море было довольно бурное, волна почти сразу накрыла меня с головой, я задержал дыхание и дождался, чтобы корма показалась из воды. Еще

несколько волн перекатилось через мою голову, прежде чем я смог приступить к работе. Было около восьми утра, солнце начинало припекать и жгло мою обнаженную шею. Я не без удовольствия погружался каждый раз в теплую воду, хотя это очень замедляло мою работу и, кроме того, я мог удариться о руль и пораниться, как уже случалось неоднократно. Работая, я то и дело поглядывал на останки акулы, желая убедиться, что ее сородичи не кончили пировать.

Тело мое напряглось, глубоко под водой я старался надеть зажимы на трос, и только нос мой высывался наружу. В это время опять накатилась большая волна. Я задержал дыхание, сжался в комок — так легче перенести ее удар — и тут почувствовал, что внутри у меня, слева, что-то оборвалось... Будто крючок вонзился во внутренности. Боль была такая, что я вскрикнул. Не иначе как я поранился о железную полосу, которую старался прикрепить к рулю. Я, конечно, сразу же отпустил его и, удерживаемый только веревкой, болтался по волне взад и вперед около плота. Вскоре боль немного отпустила, и я с грехом пополам взобрался на палубу, чувствуя, что надорвался. У меня уже была грыжа с правой стороны, но она не доставляла мне серьезного беспокойства. Полежав на палубе и согревшись под лучами солнца, я ощупал себя. Сомнений не оставалось: я надорвался. Что же делать?

Тут я вспомнил, что нью-йоркский врач сунул мне в аптечку эластичный бинт на случай растяжения. Надо попытаться воспользоваться им, а чтобы успокоить боль — принять морфий. Я взял с собой несколько таблеток, помня, какие боли причинила мне язва в первое мое путешествие. С трудом добравшись ползком до каюты, я принял таблетку морфия и забинтовался. После обеда я принял вторую таблетку, а затем полез в воду и закончил работу.

В последующие дни грыжа вела себя вполне пристойно. Я подставлял живот солнцу, поливал его морской водой, все время бинтовался, особенно перед тем, как поднять или спустить грот или сделать другую работу, требующую больших физических усилий.

Последние дни я питался в основном картофельными оладьями. Великолепное кушанье и бобы с тертой сырой картошкой и лимонным соком. Иногда варил одну только овсянку. Если готовить было некогда, я открывал банку бобов и пакетик с сухой картошкой.

По моим расчетам, я проделал — шел я зигзагами — примерно шесть тысяч семьсот миль. В 1954 году я покрыл на "Семи сестричках" приблизительно такое же расстояние — от Кальяо до Паго-Паго на Восточных Самоа. Однако времени на этот раз у меня ушло больше — из-за поломанных рулей.

Море внезапно стало из зеленого серым. Я только что проверил снасти и присел у двери каюты отдохнуть. У меня закружилась голова, и, чтобы не упасть, я схватился за первый попавшийся мне под руку предмет. Глаза закрывались сами собой помимо моего желания. Что-то со мной было неладно! Тело мое вдруг налилось стопудовой тяжестью. Я задремал, но заставил себя проснуться. Так дело не пойдет! Нужно встать и приняться за работу! Скоро наступит день. Но вместо этого я соскользнул с ящика и остался лежать на палубе. Как хорошо не двигаться — мысли шевелились в моей голове, словно затухающее пламя. Время от времени я засыпал.

Все дело в воде. Вода испортилась, а я продолжал ее пить. Цвет у нее был неважный, но я решил, что обойдется. Несколько недель назад я открыл новую бочку. Вода в ней была мутная и пахла сточной канавой. Я прокипятил воду и решил рискнуть воспользоваться ею — впрочем, иного выхода у меня и не было. Дождей

выпадало мало, и ту воду, что мне удавалось собрать, я употреблял в первую очередь. Но последнее время дожди меня не баловали, значит, оставалась только вода из бочки. Я профильтровал ее сквозь марлю, которую мне положила Тэдди. Почему вода испортилась — я понимал очень хорошо. У меня была лучшая питьевая вода во всей Лиме и даже во всем Перу, ее доставляют из высокогорного источника и продают в Лиме и Кальяо в сосудах вместимостью десять галлонов. У меня были лучшие в мире бочки из белого техасского дуба, просмоленные изнутри. Первоначально они предназначались для хранения священного вина. Но я допустил небрежность: чтобы бочки не рассохлись, я велел наполнить их, пока не привезут воду с гор, самой обычной водой. Ее осталось совсем немного, на донышке, ниже затычки, но этого было достаточно, чтобы отравить остальную воду. Сам виноват, пеняй на себя! Я вспомнил, как во Французской Гвиане пил из вонючих речушек черную воду. В конце концов она меня доконала — я заболел желтой лихорадкой, и только бушмены [8] спасли меня.

Я чувствовал, что солнце подымается. В моей голове продолжали лениво двигаться мысли о болезнях, о невзгодах, о неисправных рулях, о том, как я, беспомощный, буду бесцельно дрейфовать по волнам. Надо открыть глаза и посмотреть, что происходит, хотя бы поглядеть на небо. Одно хорошо — я находился далеко от земли, если не надвинется буря, мне ничто не угрожает. Начала болеть голова. Я прикрыл ее рукой, но это не помогало. Я с усилием раскрыл глаза. Утро ясное. Облака на северо-востоке. Облака, облака, мои верные союзники...

Плот будет идти по курсу, впереди ясное небо. Глаза мои снова закрылись. Кики и Авси возились на носу — их еще не доняла жара. Я слышал, как их тела ударяются о бамбуковый настил. Рано утром я их покормил — а что

еще им нужно? Лишь бы два раза в день дали поесть. Что за совершенные создания!.. И вообще, как все в жизни разумно и совершенно! Я вытащил из кармана часы. Они были переведены на местное время. Почти восемь часов... Наверное, я дремал. Хорошо бы выпить чашку горячего чая, но при одной мысли об испорченной воде меня чуть не стошнило. Ее запах наполнял каюту — я поставил туда ведро с водой. Кипятить и фильтровать ее недостаточно. Нужно просто пить как можно меньше, пока не пойдет дождь.

Я попытался подняться, но не смог. Ничего, скоро я встану... Может быть, у меня лихорадка? Лихорадка от плохой воды? Я испугался, но постарался взять себя в руки. А какие еще болезни бывают от испорченной воды? Желтая лихорадка, тиф? На старых парусниках случалось, что в бочку с водой попадала крыса и тонула в ней. Тогда на корабле начиналась чума, и трупы один за другим выбрасывали за борт, пока не погибала вся команда. Судно дрейфовало по волнам, его дно постепенно гнило, и в конце концов корабль шел ко дну или чья-нибудь милосердная рука подносила к нему спичку. Кроме воды, мне ничто не могло повредить, ведь ел я все время одну и ту же пищу и мой желудок еще ни разу не доставил мне даже малейшего беспокойства.

Я заставил свое тело подняться, сустав за суставом, конечность за конечностью, добрал до каюты, руками втащил ноги на высокую ступеньку, достал из аптечки термометр, всунул его в рот и рухнул на пол.

Очнувшись, я обнаружил, что термометр все еще у меня во рту. Я вытащил его, но никак не мог разобрать, сколько он показывает. Наконец я сообразил, что надо повернуться спиной к свету... Немного больше ста градусов. Я стряхнул ртуть, снова сунул термометр в рот и ровно через четыре минуты вынул... По-прежнему едва перевалило за сто [9]. Ерунда, ничего особенного! Я принял аспирин и вышел на палубу, не в силах выносить

прочно установившийся в каюте запах сточной канавы. На палубе я с грехом пополам опустил тент, натянул и улегся под ним.

У меня кружилась голова, но разве в ней было дело? Явно возмутился мой кишечник. Выпить бы несколько кружек или даже целый галлон морской воды, чтобы она своим весом вытеснила накопившуюся там гадость... Это наверняка помогло бы. Или вызвать рвоту — для этого достаточно принять одну-две ложки горчицы, разведенной в чашке теплой морской воды. Это очень просто, совсем просто... Но палуба ходит ходуном, качается из стороны в сторону и вместе с ней вздымается и падает все у меня внутри.

Немного погодя я все же собрался с силами, встал и посмотрел на компас. Я чуть отклонился к северу, но в шкотах и галсах была слабина, значит, плот не станет против ветра.

Я поплелся на нос и сверился с компасом. Все как будто в порядке, но погода, кажется, начинает портиться. Я подошел к левому борту. Там под жгучим солнцем стояли бочки с водой, издававшие совершенно невыносимый запах. Я погладил Кики, которая готовилась залечь спать на весь день. Немедленно подошел и Авси с поднятым трубой хвостом, словно он отправлялся на парад.

Облака за моей спиной не внушали доверия, и я спустил грот на случай, если мне станет хуже, что, судя по всему, было вполне вероятно. На это ушла уйма времени. Затем я подошел к утлегарю — надо было распустить кливер и поднять его. Кливер запутался за топ, пришлось лезть наверх. Компас показывал теперь вест-зюйд-вест. Оба руля болтались в воде совершенно самостоятельно, словно не имели к плоту ни малейшего отношения.

Меня мучила жажда, в горле у меня пересохло, но при взгляде на мутную воду в ведре желание пить

пропадало. И тут я вспомнил, что капитан Хокансон с "Санта Маргариты" — парохода, который доставил плот из Нью-Йорка в Кальяо, — подарил мне целую коробку банок с дистиллированной водой. Каждая американская спасательная лодка имеет запас таких банок. Я берег их: вдруг произойдет крушение и придется сесть в спасательную шлюпку или высадиться на безводный атолл.

Я достал одну банку и открыл ее. Конечно, надо было бы воду вскипятить и промыть горло чашкой горячего чая, но я не мог и думать о том, чтобы разжечь примус, стать на колени и подкачивать его, в то время как плот, а вместе с ним моя голова будут раскачиваться из стороны в сторону. Я влил в воду лимонного сока, выпил ее и вышел из каюты.

Глаза у меня слипались, и я растянулся на палубе. Проснулся я почти в двенадцать часов. Взглянул из-под тента на небо. Ни облачка... Нужно произвести дневную обсервацию, но как? Солнце стоит почти точно над головой, глаза мои не вынесут его яркого света. Мне хотелось одного: спокойно лежать в темноте. Я снова измерил температуру: почти такая же, всего на одно деление выше.

Долго лежал я на палубе. Когда я проснулся, солнце садилось. Авси жалобно мяукнул на носу, ага, он играет с Кики. Кошка уселась на него верхом, пригвоздив весом своего тела к палубе, а зубами придерживала за горло. Это, конечно, игра, но я не мог не вспомнить, как несколько дней назад она расправилась с бедной птичкой. Та даже пискнуть не успела, самая быстрая и безболезненная смерть, какую я видел в своей жизни. Пора было кормить кошек. Я принял аспирин, запив его оставшейся в банке водой, и пошел на нос. Авси при виде меня моментально начал мяукать и не замолчал, пока я не открыл банку с консервами и не дал им поесть. После этого я вернулся на корму и снова лег.

Почувствовав, что во мне поднимается тошнота, я подполз к краю палубы, чтобы не запачкать палубу.

Так я лежал до самой темноты. Несколько раз я подымал голову и смотрел на звезды. Волна перекадилась через борт и ласково приподняла мои ноги. Теплая вода даже доставила мне удовольствие, но когда за первой волной чуть погодя последовала вторая, я встал, принял аспирин и улегся у штурвала. Подошла Кики и уставилась на меня, за ней, как обычно, подбежал Авси. Я взял котенка на руки и погладил. Прикосновения его тельца к рукам и лицу были мне приятны.

На этот раз я проснулся так внезапно, словно меня кто-то растолкал. На самом деле я пробудился в ужасе оттого, что забыл завести хронометры. Я бросился в каюту и открыл герметическую коробку, где они лежали в целлофановых пакетах. Оказалось, что я их завел, но когда — так и не вспомнил. Транзистор, настроенный всегда на позывные военно-морской обсерватории США в Вашингтоне, ежечасно передавал время с точностью до одной секунды, но приемник мог отказаться, и тогда бы я зависел исключительно от хронометров.

Наутро я почувствовал себя значительно лучше, хотя все еще ощущал слабость. Меня еще немного лихорадило. Небо вечером было чистое, дул ровный ветер, и я поднял грот. Мне пришлось три или четыре раза отдыхать, пока я его поднимал. Закрепив кливер, я, как обычно, лег на резиновый матрац около каюты и заснул. Спал я хорошо, только каждый час вставал посмотреть на небо и проверить компас. Плот шел довольно быстро, но ветер был ровный, не шквалистый.

На рассвете я открыл очередную банку с дистиллированной водой — седьмую по счету, — вылил ее в кастрюлю и добавил лимонного сока. Затем я снова лег и проснулся уже при восходе солнца. Мне хотелось есть, и, пока примус разгорался, я уничтожил последние

два сухаря. Овсяная каша с маслом и медом не утолила мой голод, пришлось сварить еще две порции, только тогда я наелся. Две чашки кофе я проглотил чуть ли не кипящими. От радостного сознания, что я здоров, я готов был петь.

Пока я чувствовал себя плохо, дул восточный ветер, но ночью он переменялся на северо-восточный. Небо не сулило ничего хорошего, и я был счастлив, что снова стал на ноги. В тот день, 16 октября, когда все это случилось, я находился примерно в ста десяти милях к востоко-юго-востоку от Манихики. С тех пор я продвинулся очень мало.

Что мне сейчас было нужно — это хорошенько попариться в парилке или полчаса полежать в горячей ванне, лучше всего в соленой воде, а потом часов десять проспать, тепло укрывшись, в тихой прохладной комнате. Тогда остатки недомогания через все поры вышли бы из меня. Мне вспомнилось, что прежде в таких случаях я работал на гимнастических снарядах в двух свитерах, пока с меня не начинал градом катиться пот. С тем я и заснул.

Несколько дней спустя я возился на корме с цепями и шверт-талями. Был полдень. Взглянув невзначай на море, я увидел медленно движущееся в пяти футах от плота огромное бурое существо, покрытое белыми пятнами. Затем я рассмотрел плавники: по всей видимости, это была колоссальная акула. Я вскочил, немного испуганный внезапным появлением чудовища так близко от себя. Его большая тупорылая голова, заканчивавшаяся прямой, как доска, пастью не менее четырех футов в поперечнике, напомнила мне землечерпалку. По массивности оно не уступало киту, но такие грудные плавники — каждый около шести футов — могли принадлежать только акуле. Верхняя часть хвостового плавника имела такую же длину, а само существо было никак не меньше тридцати футов. Это, несомненно, была гигантская акула неизвестного мне вида, может быть, китовая акула, о которой я слышал. Белые пятна, равномерно покрывавшие все ее тело, ярко сверкали в синеве движущейся воды, залитой солнцем. Плыла она на расстоянии трех футов от поверхности воды и, в отличие от прочих акул, не вертела головой из стороны в сторону, так что я не мог как следует рассмотреть ее глаза или пасть. Она прошла под плотом, по правому его борту, почти касаясь понтона, и выплыла из-под кормы, рядом с рулем. Затем она сделала круг, возвратилась к плоту, медленно поплыла сзади и снова прошла под ним, точно так же, как первый раз. Я вынул кинокамеру, поднялся на крышу каюты и начал снимать акулу. Она, как видно, никуда не спешила и, пlying все время на одной скорости, проходила около рулей под плотом, делала круг радиусом двадцать — тридцать ярдов и снова возвращалась. Опасаясь, как бы

она не повредила рули, я выстрелил из ружья, когда она находилась в нескольких футах от меня. Чудовище, однако, не обратило на пулю ни малейшего внимания и продолжало лениво описывать круги. Иногда оно поднималось чуть выше, и тогда его спинной плавник высывался из воды примерно на полфута. Несколько маленьких корифен выскочили из-под плота и, сверкая, словно стрелы, усыпанные драгоценными камнями, метались вокруг, видимо не меньше меня заинтересованные невиданным зрелищем. Примерно через полчаса акула уплыла на юго-восток.

Запись в вахтенном журнале 18 октября 1963 года

Солнца нет. Ветер усиливается и гонит плот по довольно высокой волне. Плот ныряет, перекачивается с боку на бок, одним словом, с ним происходит все то, что происходило бы при подобных обстоятельствах с бочкой, но он идет своим курсом, в основном благодаря швертам. Волны то и дело заливают его, о брызгах и говорить нечего. Иду на зюйд-вест-тень-зюйд. Постараюсь как можно дольше не спускать грот. Судя по дневной обсервации, нахожусь на 13°30' южной широты. Очевидно, здесь сильное течение, оно-то и занесло меня так далеко на юг.

Последние дни меня не покидало предчувствие надвигающегося несчастья. Я объяснял это состояние плохим питанием. Надо было послушаться Тэдди и врача и взять витамины. Корифены довольно давно не попадались. Кое-кто из старых знакомых еще продолжал жить под плотом, но, умудренные опытом, они не клевали на мою приманку.

Когда оставалось время и примусы работали, я старался варить что-нибудь повкуснее, но сейчас у меня для этого нет продуктов. Отдал бы что угодно за

хорошую корифену. Правда, мне удалось поймать акулу. Застрелив ее и вытащив на борт, я вырезал печень и съел на полинезийский манер сырой, еще теплой. Остаток я сварил. У этой хищницы, длиной шесть футов, была великолепная большая печень, а ведь у некоторых видов акул она очень богата витаминами. Кики и Авси наотрез отказались отведать новое блюдо и с презрением отворачивали носы. Правда, желудок мой потом немного взбунтовался, но после нескольких чашек горячего кофе успокоился. В желудке акулы я нашел рыбок, каких не видел поблизости от плота, скорее всего она проглотила их около какого-нибудь рифа. Я находился почти на 14° южной широты. Первоначально я предполагал идти вдоль двенадцатой параллели, но сейчас решил, если ветер не переменится, плыть между островами Тонга и Самоа. Архипелаг Тонга состоит из огромного количества маленьких островков и атоллов, в том числе необитаемых.

Вчера клюнула небольшая акула, но пока я ее подтягивал, она сорвалась с крючка. Жаль, мой рот уже наполнился слюной в предвкушении ее сырой печени и жаркого. Печень последней акулы, безусловно, подбодрила меня.

Вчера шел дождь, я собрал около девяти галлонов воды, их мне хватит надолго. Когда дождь начался, я выпил почти целую кварту воды, так я измучился от жажды после того, как решил не притрагиваться к испорченной воде.

Сильный ветер не прекращался. Он гнал меня все дальше на юг, так что теперь я находился не очень далеко от острова Тутуила, к которому в 1954 году, точно перед зданием правительства в Паго-Паго, пристал мой плот. Интересно, в каком он сейчас состоянии? Я передал его правительству США и

населению Самоа с просьбой сохранить для будущих поколений. Правительство выдало мне бумагу за подписью губернатора, в которой торжественно заверило, что берет на себя это обязательство. Я не сомневался, что оно его выполнило.

Теперь меня уже не лихорадит, а несколько дополнительных порций бобов, картофеля и овсянки компенсировали потерю веса. Но первым делом я принял четыре чайных ложки льняного семени, двадцать минут настаивавшегося в теплой воде. Этот настой и несколько кружек морской воды, как общее тонизирующее средство, привели в порядок мой кишечник.

Запись в вахтенном журнале 22 октября 1963 года

17°20' южной широты

163°30' западной долготы

Северо-восточный ветер, продвинувший меня вперед почти на четыреста двадцать миль, стих. В сорока милях от атолла Палмерстон сильно задуло с юго-востока. Прелестный пассат, несущий меня обратно на север! Интересно, сколько я так пройду! Стараюсь держаться курса норд-вест-тень-норд, это лучшее, что можно сделать в моем положении.

В инструкциях Гидрографического управления США я прочитал, что обитатели Новых Гебридов — а меня, возможно, вынесет к этим островам — не так давно были каннибалами, да и сейчас иногда не прочь полакомиться человечинкой, очевидно, когда поблизости нет миссионеров. Я живо представил себе, как мой плот, лишенный рулевого управления, заносит в один из заливов, как навстречу мне выходят на каноэ туземцы, поглядывая то на плот, то на меня, озираются, не следит ли за ними из мангровых зарослей миссионер, и если нет

— приглашают меня к пиршественному столу, вернее, на пиршественный стол.

Человек, который потерпел кораблекрушение у чужого берега, не только на Гебридах, но и где угодно, может оказаться в бедственном положении, если один на один встретится с местными жителями. Тэдди и мне не раз приходилось слышать истории о том, как относились к жертвам кораблекрушения аборигены Вест-Индии. Для некоторых в те времена, когда суда часто насккивали на рифы, ограбление парусников было главным источником наживы. Они не сводили глаз с горизонта в надежде, что внезапно переменившийся ветер или шторм понесет судно на скалы. Они даже молились об этом в церквах. Сын пастора с одного из отдаленных Подветренных островов рассказал мне, например, такой случай: "Однажды в воскресенье мой отец заканчивал проповедь, как вдруг раздался крик на всю церковь: "Корабль тонет!" Все вскочили и с такой силой стали ломиться в дверь, что казалось, стена вот-вот рухнет. "Проклятие! — взревел мой отец, перекрывая шум. — Дайте мне полминуты, чтобы кончить проповедь, и мы все побежим на берег", — и заключил службу словами: "О Боже, смилуйся над нашими грешными душами и сделай так, чтобы это кораблекрушение было большим".

Как только начинало светать, Кики и Авси являлись на корму и давали мне понять, что они голодны. Авси выражал свои чувства мяуканьем, Кики же усаживалась и мурлыкала, с надеждой поглядывая на меня. Кошки не причиняли мне ни малейшего беспокойства. Авси знал, что в каюту его пускают только вместе с Кики. В начале путешествия там стоял ящик с песком и опилками, но он уже опустел. Кошки, однако, сами нашли подходящее место. Консервированная пища явно шла им на пользу, но теперь им не хватало свежей рыбы, особенно летучих рыб. Каждую ночь они дежурили на палубе в надежде,

что волна принесет какой-нибудь подарок. Утром я иногда обнаруживал несколько плавничков — остатки пиршества. Я вспомнил, что Мики, сопровождавшая меня в 1954 году, после плавания отказывалась даже от самой свежей рыбы. Из продуктов моря она снисходила только к импортным консервированным креветкам и к крабам, да и то если Тэдди вставала рядом с ней на колени и уговаривала съесть кусочек.

Запись в вахтенном журнале 27 октября 1963 года

11°55' южной широты

166°55' западной долготы

Ветер снова переменился на северный, и меня гонит на юг. Последние несколько недель погода переменилась: ветер стал резче, небо не предвещает ничего хорошего. Боюсь, как бы море не разбушевалось.

Ураганы обычно налетают дальше к западу, в районе Новых Гебридов и Новой Каледонии, но иногда они обрушиваются на Фиджи и Самоа. В конце прошлого века ураган уничтожил одиннадцать судов из двенадцати, стоявших в гавани Апии. Спасти удалось только английскому эсминцу, который стоял под парами и смог немедленно выйти в открытое море. Это были английские и немецкие суда, они как раз выстраивались в боевой порядок, чтобы в сражении решить спор, кому принадлежит остров. Ураган положил конец распрям.

Меня преследовала плохая погода — резкие ветры, шквалы, затянутое низкими тучами небо. Часто приходилось спускать грот. Направление ветра снова переменилось, и меня гнало на север. Я старался рулить на норд-вест-тень-вест. По сути дела, я все время шел зигзагами. Хоть бы ветер продержался, пока я пройду Самоа! Чуть не каждый день приходилось менять рулевые тали, но, к счастью, у меня было много каната.

Похоже, что я попал в ловушку. Было уже 29 октября, я находился в плавании сто семнадцать дней, на два дня больше, чем в 1954 году на "Семи сестричках". Вчера вечером, сидя у компаса в теплой куртке, более уместной на Аляске, чем в южных широтах, я подумал о древних самоанцах и других полинезийцах, которым приходилось пускаться в грандиозные плавания. Каково-то было им, когда наступала такая погода, как сейчас? Мы располагаем хронометрами, секстантами, картами, навигационными таблицами, идти вдоль берегов нам помогают радиомаяки, в наши дни даже ребенок может вести судно, но в те времена непогода нередко означала смерть.

Мне представились два больших двойных каноэ. В каждом сидит больше ста мужчин, женщин и детей. Они плывут ночью на соседний необитаемый остров за кокосовыми орехами, как делали каждый год. На следующий день, примерно на полпути до цели, их застаёт шторм. Каноэ стараются держаться вместе, но в конце концов теряют друг друга из виду. Спускается темнота. Шторм бушует до утра, а когда наступает рассвет, люди видят серое беспокойное море, покрытое мрачными тучами небо и безжизненный горизонт. Три дня и три ночи не прекращается шторм, на четвертые сутки одна лодка попадает в штиль. Потом опять поднимается буря. Ветер непрерывно меняет направление. Старый штурман внимательно вглядывается в небеса, в солнце, когда оно проглядывает сквозь тучи, в затянутые облаками звезды, но все в лодке — и мужчины, и женщины, и дети — уже понимают: они сбились с пути. Найдут ли они землю или им суждено погибнуть? Все против них: острова издали кажутся точечками, трудно различимыми с борта лодки, а ночью или в пасмурный день они и вовсе скрываются из виду. Сколько было

случаев, когда их земляки отправлялись в лодках, украшенных цветами, на праздник к соседям или за кокосовыми орехами и никогда не возвращались обратно! Иногда много лет спустя островитяне узнавали, может быть, от людей, потерпевших крушение у их берега, что их родичи высадились на атолл в нескольких сотнях миль от них, построили себе хижины, переженились и растят детей. Но чаще всего они исчезали, не оставив после себя ни малейшего следа, погружались в морскую пучину — мужчины, женщины, дети.

Идут дни. Люди не спускают глаз с горизонта, надеясь увидеть пальмовую рощу или черное пятно, означающее сушу, а может быть, белую пену прибоя, разбивающегося о скалы. Молодые люди спускаются с мачты только для того, чтобы дать отдохнуть глазам.

Лодка то быстро несется по волнам, то попадает в полосы затишья и тогда стоит неподвижно, как в гавани. Дни они отмечают зарубками. Через двадцать три дня снова налетает шторм. К этому времени провиант у них почти кончился, некоторые дети уже умерли, тела их завернули в ткань из тапы и опустили в море. "Акула, не ешь тельце, пока от него не отлетела душа", — смиренно поют матери, они знают, что человек умирает, когда настает его время. Люди наблюдают за тем, как худеют их тела, как один за другим умирают те, что постарше. Но вот шторм стихает, устойчивый ветер несет их дальше, и каждый раз, когда солнце опускается в море, они делают новую зарубку. Сорок пять дней носит их по волнам, многих они недосчитываются, да и у тех, кто жив, не осталось сил. Пресная вода на исходе — дождей выпадает мало. По-прежнему дует ровный сильный ветер, высоко над головами плывут белые облака, непохожие на облака родины. Становится холодно, и, чтобы согреться, люди тесно жмутся друг к другу. Они походят на скелеты —

живут лишь их большие черные глаза, горящие от голода. Время от времени скелеты с трудом приподнимаются и осматривают горизонт. В них все еще теплится надежда — вдруг над горизонтом покажутся верхушки пальм, прежде чем головы их откинутся назад и они навеки закроют глаза. Кокосовые пальмы, море, рифы, родное племя — этим испокон веку ограничивался их мир.

Из всех, кто с песней на устах отчалил от берега, осталось теперь только пятнадцать человек — трое детей, пять женщин и семеро мужчин. "Мы далеко от родного острова и никогда больше его не увидим", — шепчет старый штурман, открыв глаза, чтобы в последний раз взглянуть на небо. Он понимает: его час настал. Он знает свое дело и хорошо вел каноэ. Всему, что он умеет, он научился у своего отца, знаменитого морехода, а тот в свою очередь учился у своего отца. С самого раннего детства он изучал море и звезды. Он вспоминает своего единственного сына: много лет назад тот вышел из лагуны ловить рыбу и больше не вернулся. А теперь погибла и его жена... Несколько дней назад они подняли над бортом ее завернутое в ткань из тапы тело, легкое как перышко...

Проходит еще несколько дней. Однажды рулевой вдруг выпрямляется, секунду всматривается вперед, а затем, потрясенный, кричит: "Земля! Земля!" Из туч, окутавших море, словно по волшебству, выступают горы. Далеко на горизонте лежит земля, темная масса неясных очертаний. Скелеты, словно ожив, заслоняют рукой глаза от солнца и неотрывно смотрят вперед. Ветер несет их к земле, но она еще далеко.

В эту ночь никто не спит. Все следят за звездами, проверяя, куда движется каноэ; ведь если они проплывут мимо суши, ошибка окажется для них роковой. Некоторые думают, что на самом деле это не

земля, а мираж, и создал его тот самый злой дух, что наслал ветер, погнавший их прочь от дома.

На рассвете среди облаков снова возникают горы, окрашенные в цвет облаков, разве что чуть потемнее и с более острыми краями. Видны вздымающиеся и опускающиеся горные хребты. Такими издали казались горы родины, когда они, возвращаясь из путешествия, видели их с моря. Солнце не спеша поднимается над морем, и горы постепенно становятся зелеными, на них прочерчиваются глубокие выемки — это ущелья, пересекающие склоны. Путешественники подходят все ближе и ближе. Вот уже выделяются заливы и крутые мысы. Рифов у берегов, по-видимому, нет: даже острые глаза мореплавателей не замечают белой стены пены; волны разбиваются только о прибрежные скалы, опоясывающие остров.

Еще до темноты они высаживаются на сушу в защищенной от ветра бухте, а каноэ привязывают к вбитым в землю колышкам. Утром они находят маленький ручей, впадающий в море. Так эти люди нашли себе новую родину — сейчас она зовется Новая Зеландия.

Я спал; во сне я вместе с полинезийцами плыл по морям, по которым сейчас шел мой плот. Сон этот был навеян ветрами и штормами, с которыми я боролся месяцами, а может быть, и сознанием того, что где-то недалеко находятся острова, которых я не вижу. Я встал, посмотрел на компас и прошелся по палубе, чтобы окончательно прийти в себя. По дороге я засунул руку под брезент, прикрывавший большую корзину с канатами, тросами и прочим снаряжением, и погладил Авси. Котенок всегда спал на этом месте: оттуда он хорошо видел миску для еды. Кики лежала на самом проходе. Рули вместе с волнами двигались взад и вперед, по сути дела не принося никакой пользы, но паруса и шверты помогали мне держаться курса

довольно точно. Мне хотелось чего-нибудь вкусного, но ничто из моих припасов меня не соблазняло, и я выпил немного дождевой воды с лимонным соком. Затем я снова сел у компаса. Ночь была темная, плот стонал и скрипел. Он уже отклонился от своего курса почти на сорок градусов. День и ночь он дергался туда и обратно, туда и обратно, но иногда часами не двигался с места. Если бы рули не вышли из строя, я был бы на сотни миль ближе к Австралии. Тэдди начнет обо мне волноваться не раньше чем через сто пятьдесят дней с начала моего путешествия. К этому времени я, может быть, где-нибудь за островами Фиджи встречу судно, идущее с западного побережья США в Сидней, и передам ей весточку.

Запись в вахтенном журнале 29 октября 1963 года

13°50' южной широты

166°15' западной долготы

Ветер снова отошел к северо-востоку и гонит меня на юго-запад. Надеюсь, он продержится, пока я пройду острова Самоа, которые, к сожалению, лежат слишком близко от моего курса.

За последние два дня я три раза спускался за борт, чтобы закрепить рули, но пользы от них стало не больше, чем от козла молока. Дальше так продолжаться не может. Я посмотрел на небо, на море, на рули, болтающиеся в пене волн, и подумал, что с ними я никогда не дойду до Австралии. Я ясно видел, что моей мечте не суждено сбыться. Я потерпел поражение.

Я уже давно понимал, что необходимо принимать решение, что мне этого не миновать. Надо войти в ближайший порт, починить рули и только тогда идти дальше. Прежде всего необходимо сделать выбор между тремя группами островов: Фиджи, Тонга и Самоа. До Тонга теперь было далековато — меня снова отнесло на север, следовательно, оставались Фиджи и Самоа. До Паго-Паго на Восточном Самоа было рукой подать, до Апия на Западном Самоа — чуть дальше. Мне, конечно, очень хотелось пройти еще девятьсот — тысячу миль, прежде чем отказаться от мечты о безостановочном переходе в Австралию, но при нынешнем состоянии рулей это казалось неосуществимым. Лучше уж зайти на Самоа, пока я не налетел на риф и не разбил плот со всеми инструментами, фильмами и записями, а то и сам не погиб.

Но сдаться было очень трудно. Я разложил перед собой карту островов Фиджи и рассмотрел лабиринт рифов, через который мне предстояло пройти, чтобы достигнуть столицы Фиджи — Сувы, единственного населенного пункта, где можно произвести ремонт. Нет, без рулей мне не выйти из этого лабиринта целым и невредимым! Значит, выход один: идти в Паго-Паго или Апия.

Мысленным взором я пробежал все дни и ночи с момента выхода из Кальяо и вынужден был признать, что никогда я не жил такой напряженной жизнью. Затем я уселся у штурвала и думал все об одном, пока плот не повернулся против ветра.

Небо сегодня утром было предгрозовое, какого-то особенного красного оттенка, с яркими пятнами цвета меди. Днем оно подернулось дымкой, перерезанной длинными полосками, напоминавшими конские хвосты. Ветер по-прежнему дул с юго-востока, и я держался курса между островами Самоа и Токелау. День закончился дождем, он лил всю ночь и лишь на рассвете стих, но как только вошло солнце, возобновился с удвоенной силой. Дул резкий ветер, и море, по которому с силой ударяли капли дождя, напомнило мне всхолмленный пейзаж Вайоминга в снежный буран.

Сломанные рули научили меня многому. Прежде всего я на опыте моего путешествия познал, что море хочет подчиниться человеку. Каждое его движение сопровождается контрдвижением в пользу человека. И точно так же, думал я, земля и все на ней сущее. Природа хочет подчиниться нашей воле. Исходя из этого, философ может добавить, что то же самое относится к смерти и вечности: они тоже хотят подпасть под власть человека.

До 3 ноября я держался северо-западного курса. Достигнув 12° южной широты и $170^{\circ}15'$ западной долготы, я находился примерно в восьмидесяти милях к юго-востоку от острова Суэйнс. Тут ветер переменился на северный. Я поднял грот и два дня шел на фордевинд, но 6 ноября ветер отошел к северо-востоку. Я решил снова идти на фордевинд, полагая, что, если направление ветра не изменится, я смогу проскочить

между Тутуилой (Восточное Самоа) и Уполу (Западное Самоа). При моих рулях иного выбора не было.

Часа в два пополудни небо нахмурилось, но я не спускал грот. Ветер постепенно крепчал, и когда я несколько часов спустя дотронулся до бизани, она по твердости не уступала листу железа. Смогу ли я спустить грот, не порвав? Я продолжал идти на фордевинд, как вдруг подо мной, один за другим, раздались три взрыва. Это означало, что три из моих швертов сломались. Плот повернулся против ветра, грот, оглушительно хлопнув, прогнулся и начал биться о мачту с такой яростью, что казалось, вот-вот повалит ее. Я набросил крепления на штурвал и кинулся вперед как раз в тот момент, когда грот лопнул сверху донизу. Опасаясь, как бы он не изодрался в клочья, я поспешил спустить его. Плот теперь снова шел на фордевинд, а рей отнесло к самому утлегарю. После упорной борьбы мне удалось закрепить то, что осталось от грота, и прикрутить рей к мачте. Затем я поставил кливер.

Едва забрезжило, я прошел на нос посмотреть, что случилось с гротом. У меня были иголки и нитки, сколько угодно дакрона и парусины, мне ничего не стоило поставить заплаты. К счастью, в это время я мог маневрировать — вокруг было чистое море, но сколько это продлится при трех вышедших из строя швертах? До островов Фиджи я теперь никак не мог дойти, в лучшем случае я доплыву до Апия, да и то если не наскочу на риф.

Я огляделся вокруг, и все показалось мне иным: плот, море и прежде всего я сам. Я уже не был мореплавателем-одиночкой, идущим на плоту в Австралию или хотя бы на Фиджи. Я стал человеком, вынужденным сдать.

Не отходя от штурвала на случай, если вдруг налетит шторм, я вглядывался в предрассветную мглу. Что-то ждет меня в этой серой неизвестности? Накануне

я не производил обсервацию, но, судя по счислению, находился примерно в пятидесяти милях от Апия. Сумею ли я провести плот через прибрежные рифы? Может быть, я замечу судно, которое возьмет меня на буксир и проведет в гавань.

Когда достаточно рассвело, я, насколько это было возможно, закрепил правый руль и рулевое устройство и занялся парусом. Прежде всего я снял его с рея, чтобы ветер не мешал мне работать. Потом я расстелил его на палубе у подветренной стены каюты. Сверху донизу тянулись две большие дыры, не говоря уже о маленьких. Шить было нелегко: ветер рвал парус из рук, волны и брызги то и дело окатывали меня с головы до ног. Я делал огромные стежки, чтобы кончить как можно скорее: ведь меня несло на рифы Самоа.

Через три часа я кончил, привязал парус к рею, закрепил бегучий такелаж и поднял грот наверх. Вроде бы все было в порядке, морщины, образовавшиеся при поспешном шитье, под напором ветра разгладились. Но плот плохо слушался штурвала, хотя я снял уцелевший шверт в средней части плота и один из швертов на носу и переставил их на корму. Днем я несколько раз лазил на мачту поглядеть — не показались ли горы Тутуилы или Уполу. Ближе к вечеру небо нахмурилось, а когда солнце село, мне стало не по себе: уж очень легко было ночью налететь на что-нибудь. Примерно через час после наступления темноты я увидел свет за кормой, приблизительно в полурумбе от правого борта. Может быть, это судно? Огонь, однако, то гас, то вспыхивал вновь. Вздвигающееся море не позволяло мне точно высчитать частоту вспышек и таким образом определить их происхождение. Сверившись с картой, я решил, что это скорее всего маяк на западной оконечности Тутуилы, что на Восточном Самоа. До него было, очевидно, миль пять. Теперь я знал, где нахожусь и какая опасность мне угрожает: по сути дела, я был на краю гибели.

Ветер все усиливался, плот больше меня не слушался, и после девяти часов вечера я спустил грот. Затем я уселся у штурвала, напряженно вглядываясь в темноту — не покажется ли впереди белая линия прибоя. Малейшее изменение ветра или течения могло снести меня на риф. Я старался выруливать плот почти точно на запад, как можно ближе к направлению ветра, чтобы до наступления дня держаться подальше от Уполу.

В два часа ночи поднялся шквалистый ветер, плот по всей длине заливало волной. Мачта стонала и скрипела в гнезде и с такой силой раскачивалась взад и вперед, что я боялся, как бы не выскочили все сдерживающие ее болты.

Наконец пришла заря, и море посветлело. Неослабевающий ветер гнал по небу обрывки облаков. На юго-востоке они образовали нагромождения причудливой формы. Под ними на горизонте вытянулась еле различимая, еще бесформенная масса — горы. Уполу! Первая земля, представшая моим глазам после выхода из Кальяо сто тридцать дней назад. Я находился в десяти — пятнадцати милях от нее.

Взошло солнце, но небо по-прежнему имело угрожающий вид, нагромождения облаков на юго-востоке и не думали исчезать. Я медленно приближался к острову. Время от времени сквозь мчавшиеся облака проглядывали четкие профили его горных вершин. В половине двенадцатого ветер немного стих и отошел к северу. Я взял курс прямо на берег, полагая, что направляюсь к гавани Апия. Судя по моей карте, она находилась в двадцати пяти милях от мыса Тапага, восточной оконечности острова. Я поднял грот, но не прошло и десяти минут, как плот стал против ветра. Три раза я заставлял его стать на прежний курс, но наконец понял, что это бесполезно, и спустил грот. Без швертов я

не мог держаться по курсу, надо было идти в Апия под кливером и бизанью.

Я несколько раз взбирался на мачту и видел на берегу, почти точно перед собой, несколько белых точек, очевидно, дома. Немного выше, в горах, тоже что-то белело — я решил, что это цистерна для воды, и выбрал ее своим ориентиром. Затем я распустил грот и еще раз попытался поднять его, но через несколько минут плот снова повернулся. Оставалось рассчитывать только на кливер и бизань. К счастью, ветер благоприятствовал мне, и я мог держать курс на гавань Апия.

Примерно через час я снова взобрался на мачту. На этот раз я разглядел белую стену, которая тянулась параллельно всему гористому берегу. Это был риф, образывавший сплошное ограждение одинаковой высоты. Только преодолев его, я мог достигнуть суши. Остров казался прекрасным и величественным. Темно-зеленые горы возносились вершинами к небу, ныряли вниз и снова устремляли ввысь свои гордые пики, большей частью окутанные облаками. Восточный край неба по-прежнему был затянут грозowymi тучами, за которыми хвостами тянулись полосы тумана и дождя.

Я поднял американский флаг, перевернув его "вверх ногами" в знак бедствия. Вдруг меня заметят с наблюдательного пункта и вышлют навстречу лоцманскую лодку, которая проведет плот через риф в гавань! Но есть ли здесь наблюдательный пункт? Взобравшись снова на мачту, я разглядел — так мне, по крайней мере, показалось — проход в рифе. Скорее всего через него можно войти в лагуну Апия. Ветер и течения медленно несли меня вдоль берега на запад, прочь от берега, прочь от города. Будь у меня грот поднят, я бы вошел в проход.

Шли часы, я не спускал глаз с моря — авось покажется направляющаяся ко мне лодка, но, кроме

белых барашков волн, кругом не было ничего. Я медленно приближался к берегу и уже ясно различал, что белые точки — это действительно дома. Но где же лоцманская лодка? В сильный бинокль нельзя было не заметить мой сигнал бедствия. Надо как-то привлечь к себе внимание! Ведь риф все ближе и ближе! Я снял тент и привязал его к флагштоку. Он был в шесть раз больше американского флага, и при виде его любой простак понял бы, что я нуждаюсь в помощи.

Запись в вахтенном журнале 11 ноября 1963 года

Кики и Авси весь день ведут себя спокойно и даже не играют. Наверно, чувствуют, что не все в порядке. Представляю себе, как они будут обнюхивать землю и грызть траву! За сто тридцать дней бедняжки наверняка соскучились по суше, хотя они моряки до мозга костей. Как я ни стараюсь повернуть голову Кики к берегу, приговаривая: "Смотри туда, глупышка, там ты можешь увидеть что-нибудь интересное. Неужели тебе не хочется порезвиться на зеленом бережку и понюхать цветочки?" — Кики упорно смотрит в открытое море, всем своим видом говоря: "Когда пристанем, тогда пристанем!"

Я теперь так близко от берега, что не решаюсь бросить штурвал и взобраться на мачту. Приходится ограничиваться тем, что время от времени я на миг вскакиваю на корзину и стараюсь рассмотреть риф получше. Я уже различаю на берегу дома, склады, деревья... Видна и гавань — небольшая лагуна, а в ней судно, стоящее на якоре. Правда, картина проступает не совсем отчетливо — над водой стоит легкая дымка тумана.

Глаза мои прикованы к рифу — я стараюсь найти место, где можно проскользнуть, но, кроме сплошной стены бурунов, не вижу ничего. Почти всюду, по-

видимому, рифы опоясывают остров двумя-тремя рядами.

Ветром меня отнесло на три-четыре мили вдоль берега, и Апия затерялась за маленьким мысом, поросшим пальмами. Риф совсем близко. Наступил решающий момент. Надо прорываться здесь — вправо громоздятся высоченные, с большой дом, рифы, которые тянутся на много миль, до самых Савайев. Вершины гор, достигающие шести тысяч футов, проглядывают сквозь окутавшие их облака.

Все готово к прорыву. Авси и Кики я отнес в каюту на случай, если мачта рухнет или палубу зальет. Их ждет ящик со спасательным кругом: если плот разобьется, ящик отнесет к берегу. Уже пять часов вечера, и быстро темнеет. Солнце скрылось за облаками над Савайями.

Я вспрыгнул на корзину, чтобы последний раз взглянуть на риф, и кинулся к штурвалу. От рифа меня отделяет не больше ста ярдов. Грохот бурунов слышится совершенно ясно. Кики сидит на высоком пороге каюты и спокойно созерцает все происходящее. Авси за ее спиной разлегся на сваленной в кучу одежде. Я втолкнул Кики внутрь и запер дверь.

Лагуна за рифом усеяна большими глыбами коралла. Берег, покрытый зарослями мангровых, среди которых возвышаются стройные стволы кокосовых пальм, находится примерно в четырехстах ярдах.

Ярд за ярдом я продвигаюсь вперед. Всякий раз, как море опускается, на рифе обнажается черная стена коралловых глыб. Большая волна подхватывает плот, несет его вперед и опускает. На какой-то миг он останавливается, затем его снова поднимает и проносит вперед. Я смотрю на отвратительную стену рифа. Море снова поднимает плот и... Я всей тяжестью налегаю на штурвал, не спуская глаз с мачты, чтобы успеть отскочить в сторону, если она начнет падать.

Когда плот ударяется о риф, пена скрывает все вокруг. Удар настолько силен, что, мне кажется, плот вот-вот разлетится на куски. Меня швыряет на спицы штурвала. Волны бьют плот о коралловые глыбы, палуба и каюта скрываются под потоками пены. Все шверты сломались, хотя они совсем неглубоко были опущены, вместе с ними выломалось несколько досок из палубной обшивки. Внезапно нос плота задирается, а затем медленно погружается в воду. Вода тяжело обрушивается на корму. Конвульсии продолжаются. Непонятным для меня образом мачта продолжает стоять. Затем плот начинает раскачиваться с борта на борт. Море приподнимает его и швыряет вперед. Он опускается на все три понтона. Его снова приподнимает, наклоняет на правый борт и бросает вниз. Новая волна выпрямляет плот и проносит сквозь пену. И снова он почти останавливается, переваливаясь с борта на борт, пока новый толчок не заставляет его продвинуться на несколько ярдов. Затем волна, перекатившись через корму, поднимает его и мягко опускает. Мы переползли через риф и оказались в лагуне.

Я не отхожу от штурвала. Паруса наполняются ветром, и мы идем к берегу, до которого осталось около четырехсот ярдов. Путь нам преграждают коралловые глыбы, но волны, перехлестывающие через риф, проносят нас над ними. В двадцати пяти ярдах от берега возвышается огромная коралловая плита. Я обхожу ее, бросаю якорь, а затем спускаю кливер и бизань. Плот делает поворот кругом. Пройдя в полном одиночестве за сто тридцать дней около семи тысяч пятисот миль, я пристал к земле. Кики и Авси вышли на палубу.

— Итак, мы не осрамылись! — говорю я и поднимаю их высоко над головой, чтобы они могли как следует оглядеться.

Апия скрыта за поросшим деревьями мысом, в лагуне ни малейших признаков жизни. Смеркается. Вскоре из

ближайшего заливчика выходит моторный ялик, в нем сидят мужчина и женщина. Я машу рукой, кричу, они замечают меня и после некоторых колебаний направляются к плоту.

— Приветствую вас! — восклицаю я, вне себя от радости, что снова вижу людей. — Я прибыл из Южной Америки...

Они недоуменно смотрят на меня, и я начинаю сомневаться, понимают ли они английскую речь.

— Вы понимаете по-английски? — спрашиваю я.

— Да, понимаем, — отвечает мужчина, сохраняя расстояние в несколько футов от борта плота. Видимо, полуголый загорелый человек с седой бородой, да еще на плоту странного вида, не внушает ему особого доверия.

Я говорю им, кто я, и прошу немедленно сообщить обо мне властям и на радиостанцию, если такая имеется на острове, чтобы Тэдди как можно скорее узнала, где я нахожусь.

Ялик поворачивается и мчится к заливчику, из которого он вышел. Я снова один. Солнце село, и мангровые деревья отбросили на плот свою тень. Кругом царит тишина и все так странно... Человек в ялике отрекомендовался преподобным Мэддоксом, главой методистской миссии в Уполу, а женщина — его женой. Я убираю палубу, потом открываю банку бобов и ем, стоя у штурвала. Внезапно мною овладевает тоска, как если бы я чего-то лишился.

**Конец записей в вахтенном журнале, Пуи-Паа,
Западные Самоа, 11 ноября 1963 года.**

XII

Примерно через час я услышал в мангровых зарослях голоса и увидел на берегу темные силуэты людей. Несколько человек по воде направились к плоту. Ко мне же пошло и каноэ с аутригером [*]. Каноэ подошло первым. Гребцы высадились на плот и поздравили меня с прибытием на Самоа. Один, в кителе и лава-лава, местном одеянии типа юбки, в белом шлеме на голове, оказался офицером полиции. Он осведомился, не нуждаюсь ли я в помощи. На берегу, сказал он, ждет автомобиль, если я хочу, он доставит меня в гостиницу. Я, однако, предпочел остаться на плоту. Он спросил, как мне удалось преодолеть риф. Услышав, что я перескочил через него, он покачал головой. Было уже совсем темно, когда офицер и те, кто встретил меня, как долгожданного родственника, вернулись на берег. Оказывается, я пристал к берегу в Пуи-Паа, милях в трех к западу от Апия.

Некоторое время я был один, потом снова раздались голоса, и к плоту по воде подошла группа юношей. Все они говорили по-английски, засыпали меня вопросами и наперебой приглашали ужинать. Я ответил, что останусь на борту, но хотел бы получить немного свежих фруктов. Тогда один побрел обратно к берегу и вскоре возвратился с корзиной спелых бананов.

— Утром мы принесем кокосовых орехов и манго, — сказал он. — Сейчас, в темноте, их не нарвешь.

До полуночи мы разговаривали, вернее, самоанцы задавали вопросы, а я отвечал, не забывая при этом уничтожать один за другим бананы.

Когда гости ушли, меня уже совсем клонило ко сну. По привычке я обошел плот и проверил снасть, как если бы все еще плыл в открытом море. Начался отлив, вода

негромко журчала, проходя между понтонами и скалами и над коралловым утесом. Среди скал были и очень большие, и мне все мерещилось, что это купается стадо огромных животных. После грохота морских волн, сопровождавшего меня вот уже несколько месяцев, тишина в лагуне казалась странной. Ее нарушал только отдаленный шум высоких волн, ударявшихся о риф. Земля, огромная, тяжелая, словно бы давила на меня. Даже дышалось труднее. Меня невольно тянуло обратно, в открытое море, здесь я чувствовал себя не в своей тарелке. Кики и Авси, привыкшие по ночам бодрствовать, бродили вокруг. Наконец я лег спать.

Проснулся я от звука голосов. На побледневшем небе осталась одна-единственная звезда. Надо мной, чуть ли не касаясь плота, возвышалась темная стена мангровых. К плоту направлялись люди. Они ступали осторожно, опасаясь камней, скрытых теперь приливом. Следом за ними от берега отошло каноэ с двумя мужчинами. Один был в форме полицейского, только с непокрытой головой. Он поразил меня гигантским ростом и необычайной наружностью — второго такого красавца я, пожалуй, не встречал. Он протянул мне огромную ручищу и отрекомендовался Лео Шмидтом, старшим офицером полиции Западного Самоа. Поздравив меня на великолепном английском языке с удачным путешествием, он пригласил позавтракать у него дома в Апии. На берегу, сказал он, ждет его автомобиль. Прежде всего мы посетим резиденцию премьер-министра Матаафы II, зятя Лео Шмидта. Что касается плота, то я могу быть совершенно спокоен: он выставит часового, который день и ночь будет его охранять. Я показал Шмидту плот, запер каюту, оставив открытой форточку для Кики и Авси, и мы отправились на берег.

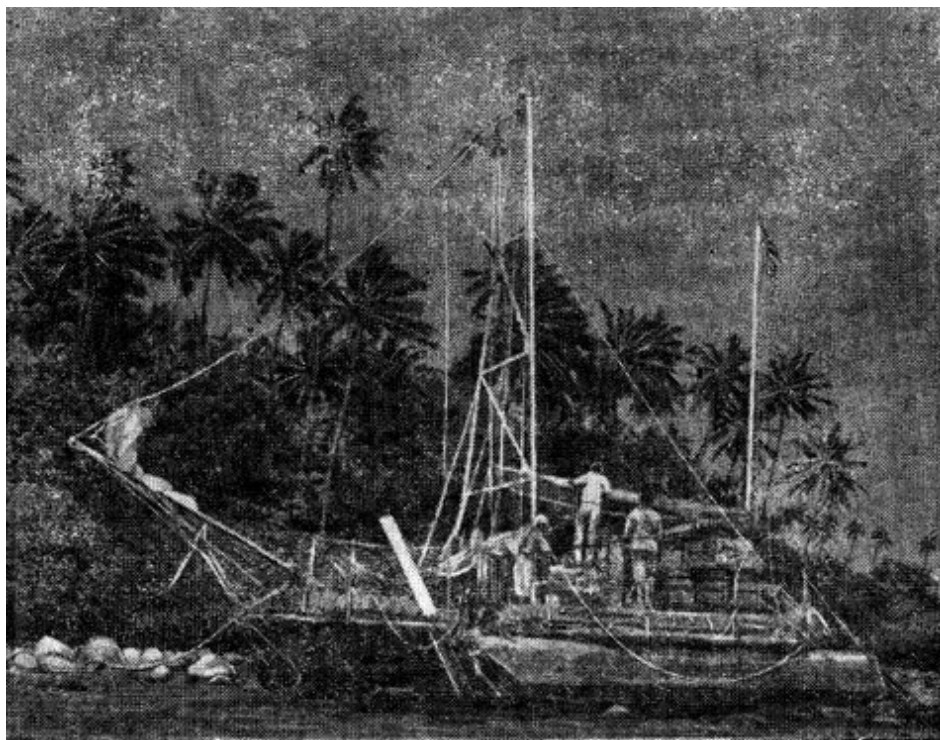
Западное Самоа, состоящее из островов Уполу и Савайи, является независимым государством. Властей на острове было много, всех их я должен был посетить и

возвратился только вечером. Полицейского окружала плотная толпа местных жителей. Целый день, сказали мне, жители даже отдаленных селений — мужчины, женщины, дети — шли в Пуи-Паа, чтобы взглянуть на мой плот. До поздней ночи беседовал я с гостями, отвечал на бесконечные вопросы о Соединенных Штатах, о том, встречал ли я пиратов, злых духов или морских чудищ. Большинство гостей читали мою книгу о путешествии 1954 года.

На рассвете следующего дня во время прилива моторный катер "Юнион стимшип компани" отбуксировал плот в гавань Апия. В десяти ярдах от берега я стал на якорь. Жить я решил в небольшой гостинице, в бунгало.

Рули сняли и отнесли в механический цех предприятия американской фирмы. Впрочем, эти обломки железа трудно было назвать рулями. Механики без конца удивлялись, почему их сделали из такого непрочного материала. К сожалению, изменить конструкцию рулей они не могли — цех не был приспособлен для такой работы, но мне посоветовали укрепить их, приварив новые части. Предложенные чертежи мне понравились, и работа закипела.

За неделю я отоспался и думал только о том, как бы мне поскорее выйти в море. Жил я по-прежнему в маленьком бунгало и ночью слышал, как падают на землю кокосовые орехи и грохочут волны у рифа. Часто я просыпался и с тревогой думал, что пора мне уже продолжить путь в Австралию.



«Возраст не помеха» в Апии.

Я объедался овощами и фруктами и позаботился о том, чтобы взять их с собой побольше. Бочки для воды опорожнили, вычистили и наполнили морской водой, чтобы они, пока суд да дело, не рассохлись на суше. Кики и Авси жили на плоту — бунгало пришлось им не по вкусу, и два раза в день — утром и вечером — я ходил их кормить.

Однажды в разговоре с новым знакомым, торговцем по профессии, я упомянул, что надорвался.

— Обратитесь к хирургу, — посоветовал он. — Медицинская помощь у нас бесплатная, визит к врачу не будет стоить вам ни одного пенни. Я отвезу вас в больницу.

Мое появление вызвало среди врачей переполох. Они столпились вокруг меня со стетоскопами, внимательно рассматривая, у них чуть не слюнки текли от желания разобрать на части и исследовать этого худощавого

белобородого представителя рода человеческого. Я с улыбкой отстранил их:

— Я всего лишь надорвался и хотел бы посоветоваться с хирургом.

Меня уложили на стол, вокруг столпилось полдюжины врачей, и доктор Гудмен прощупал мой живот.

— Кашляните!

Я кашлянул несколько раз. По мнению доктора Гудмена, у меня была грыжа, грозившая мне ущемлением. Прежде чем продолжать путешествие, необходимо сделать операцию!

— Если не хотите оперироваться здесь, можете вылететь в Штаты, — сказал он. — Грыжа на правой стороне не опасна.

— А чем грозит ущемление? — поинтересовался я.

— Смертью, если в этот момент вы будете один в открытом море, — спокойно ответил он.

Я вышел на улицу. Как быть? Я хотел продолжить путешествие, я должен был его продолжить и дойти до Австралии. Пойти на операцию — значит быть привязанным к земле месяцев на шесть. Но как же быть с Тэдди? Не могу же я принять решение без нее! Что скажет она, если узнает, что я вышел в море, не сообщив ей мнение врача? Нет, это невозможно, я должен ей все рассказать и послушать, что она скажет. Иного выхода нет. Ведь она столько сделала для меня! Это путешествие не меньше ее, чем мое. Может быть, ей даже пришлось труднее. Надо все ей сказать.

Я пошел на телеграф и отправил Тэдди подробную телеграмму.

На следующий день пришел ответ:

"ВЫЛЕТАЙ НЬЮ-ЙОРК ОБСЛЕДОВАНИЕ ТОЧКА ПЕРЕВОЖУ ТЕЛЕГРАФОМ БИЛЕТ САМОЛЕТ ТЭДДИ".

Это так похоже на Тэдди. И я знал, что, если я не полечу в Нью-Йорк, она прилетит на Самоа.

Я снял с плота все, что можно, даже исправленные рули и снасти, сдал на склад и телеграфировал Тэдди, что вылетаю. Кики и Авси я решил взять с собой: выяснилось, что если я высажусь с ними в Австралии, власти их уничтожат. Так полагается по закону. Привезенные из-за границы кошки и собаки шестимесячного возраста и старше подлежат уничтожению. Исключение составляют те, что доставлены пароходом с Британских островов — их помещают на шесть месяцев в карантин. Что, если бы я пристал к австралийскому берегу и у меня попытались отнять моих спутниц?

Придя однажды кормить кошек завтраком, я не увидел Кики на том месте, где она всегда поджидала меня — на корме. В каюте ее тоже не было.

— Где твоя подруга, Авси?

У Авси был перепуганный вид. Я взволновался. Как возвратиться в Нью-Йорк без Кики? Тэдди мне этого ни за что не простит, наша встреча будет испорчена.

Новость об исчезновении Кики — любимицы островитян — с быстротой молнии облетела Апиу и соседние селения. К сожалению, она совершенно не боялась незнакомых людей, и любой из тех, кто приходил посмотреть на плот — а приходили в любое время дня и ночи со всех концов острова, — мог поманить ее пальцем, приласкать и совершенно спокойно унести. Напротив, Авси, за всю свою короткую жизнь знавший одного меня, был очень недоверчив и при приближении чужого немедленно взбирался на железную мачту.

Утром, как только двери полицейского участка открылись, я сообщил Лео Шмидту о пропаже. Он распорядился немедленно передать по островному

радио специальное сообщение с просьбой вернуть кошку.

— Не беспокойтесь, — сказал он. — Если кошка жива, мы получим ее обратно. Но, может, она упала за борт...

— Кики! — воскликнул я. — Ни за что на свете! Даже ураган не мог снести ее с плота. Она настоящий моряк, и она, и Авси.

За этот день не меньше тысячи людей спрашивали меня, не вернулась ли Кики. Несчетное количество раз я ходил к плоту, но заставлял там только перепуганного Авси.

— Мы не можем лететь в Нью-Йорк без Кики! — говорил я ему, и он как будто понимал.

Назавтра задолго до восхода солнца я пришел кормить Авси. На корме как ни в чем не бывало сидела Кики.

— Где ты была? — спросил я и взял кошку на руки, чтобы осмотреть ее. Кики в ответ только зевнула изо всех сил и начала мурлыкать и ластиться, как бы прося, чтобы я позаботился о ее завтраке. Я покормил ее и отнес на берег к себе в бунгало.

Надо было решить, что будет с плотом, если я не вернусь обратно. Я решил преподнести его американским властям Паго-Паго и населению Восточного Самоа, как сделал в 1954 году. Тогда оба плота будут вместе. Когда об этом услышал мой знакомый торговец из Апии, он широко раскрыл глаза от удивления.

— Вы воображаете, что ваш плот еще в Паго-Паго?

— Конечно, а где же ему быть?

Он смущенно кашлянул.

— Он там был, но сейчас его нет.

— Где же он? Он лежал на лужайке перед зданием правительства. — Я разволновался. — Мне даже прислали фотографию.

— Вашего плота там больше нет. Его изрубили на дрова...

— На дрова! Кто?

Мой собеседник пожал плечами.

— Он лежал как раз перед домом правительства...

— Да, лежал, я его видел. Все его видели.

— Изрубили на дрова мой прекрасный плот... Семь бальсовых бревен из сельвы...

Теперь мне, естественно, не оставалось ничего иного, как передать плот на хранение правительству Западного Самоа. Премьер-министр подписал официальный документ о том, что принял его.

После этого я был готов отправиться с Кики и Авси в Нью-Йорк. На местном самолете мы прибыли в Паго-Паго, а там несколько часов подождали реактивный лайнер из Сиднея, который должен был доставить нас через Гавайи в Лос-Анджелес.

Приземлившись в Паго-Паго и позаботившись о Кики и Авси, я отправился к дому правительства. Вот здесь, на этой лужайке, лежали мои "Семь сестричек". Но лужайка была пуста. Плот исчез бесследно. Волнам не удалось поглотить храбреца, с американским флагом на борту он за сто пятьдесят дней бесстрашно прошел сквозь бури и штили семь тысяч миль. А если ему суждено было погибнуть, то лучше бы уж его постигла смерть в открытом море...

XIII

И вот я возвратился в Нью-Йорк, к телефону и метрополитену, радио и телевидению, репортерам, фотокорреспондентам и издателям, к грохоту и сумятице самого большого и самого нервного города мира, а главное, я возвратился к Тэдди. Мы гуляли и разговаривали, засиживаясь иногда до раннего утра. Казалось, что мы вовсе не расставались, что она вместе со мной переплывала на плоту Тихий океан или, наоборот, я был с ней в Нью-Йорке. Тэдди все время знала, что происходит со мной, равно как и я знал, что она долго болела.

Кики и Авси приспособились к перемене в их жизни. Они разгуливали по нашему номеру в гостинице, как если бы никогда и не видели плота, прыгали на мебель, как прыгали на крышу каюты, возились на ковре, пока снизу не прибежали жильцы, уверенные, что над ними бесчинствует целая банда сорванцов. Зато с каким презрением они отворачивались от пищи, даже если это были заморские деликатесы, вроде омара или креветок! Тэдди это обстоятельство крайне беспокоило: чем кормить кошек, чтобы они оставались здоровыми и веселыми?

— Им хочется летучей рыбы, — сказал я как-то моей жене, когда она стояла на коленях рядом с Кики, умоляя ее хотя бы взглянуть на купленные для нее креветки.

— Бедняжки, что им пришлось пережить! — вздохнула Тэдди. — Понять не могу, как они выжили. Особенно Авси, он ведь был не больше моей ладони. Вот уж не думала, что он вернется целым и невредимым. Между тем они великолепно выглядят, не правда ли?

В один прекрасный день я снова очутился на столе, где меня осматривали перед началом путешествия.

— Кашляните, — сказал тот же врач.

Я кашлял, а он прощупывал мои внутренности.

— Ну как? — поинтересовался я после осмотра.

— Нужна операция.

Я показал ему заключение доктора Гудмена из Апиа.

— Полностью с ним согласен.

— Он предупредил меня, что может быть ущемление.

— Безусловно!

— А что такое, собственно, ущемление?

— Ущемление — как раз то, что буквально означает это слово: выступивший наружу кусочек кишки попадает между мускулами брюшины, то есть защемляется.

— А потом?

— Потом наступает гангрена, она вызывает прободение, и тогда вам несдобровать. Как у вас дела в остальном?

— Готов отправиться дальше.

— Зачем?

— Чтобы довести дело до конца, Берни.

— А вам не кажется, что вы уже сделали достаточно?

— Я получил разрешение на выход в Австралию, и плот должен туда прийти.

— Хорошо, Билл, тогда как можно скорее ложитесь на операцию. Не откладываете.

— Я подумаю, Берни.

Вечером мы с Тэдди сидели дома.

— Ко мне пристают с вопросами, почему я хочу вернуться в Апиа и продолжить путешествие, — сказал я. — Странные люди! Даже в Самоа мне не давали покоя. Многие заключали пари, что я не вернусь.

— Просто все думают, что ты слишком стар и устал, — ответила Тэдди, поднимая голову от газеты. —

Сегодня я отругала репортера, который по телефону справился о твоём здоровье. "Как старик?" — спросил он. Я вышла из себя и выдала ему по десятое число.

— Надо отдать тебе должное, Тэдди, ты ни разу не спросила, почему я хочу вернуться. Ты спрашивала о чем угодно, только не об этом.

— Я знаю, ты не успокоишься, пока не закончишь путешествие, — сказала Тэдди спокойно.

Я погладил Кики, которая растянулась рядом со мной на диване.

— Ты, Кики, на плот не вернешься, ты останешься здесь, с Тэдди. Австралия не принимает кошечек.

Словно поняв, о чем шла речь. Кики поднялась, выгнула спину, не открывая глаз, и снова улеглась.

— На этот раз я буду совсем один, — сказал я.

— Решил бы ты наконец насчет этой операции.

— Я не стану ее делать.

Тэдди подняла на меня глаза.

— Я все обдумал. В самом деле... Сейчас это было бы неразумно. И вот почему. Я очень хорошо себя знаю, свой организм, я имею в виду. Операция не такое уж простое дело. Во-первых, после нее могут быть осложнения. Поскольку у меня двусторонняя грыжа, меня разрежут пополам. "Это пустяки, — говорят врачи, — через несколько дней вы будете бегать не хуже, чем прежде". Знаю я эти уговоры. Мне не по душе, что меня разрежут пополам, а потом сошьют, как мешок. Может, я и стану бегать, как прежде, а может — нет. Кто знает? Врачи? Они скажут, что все в порядке, похлопают по спине и выпроводят на все четыре стороны. Если я не смогу прыгать, как прежде, и почувствую, что я уже не тот, они ответят: "Чего вы хотите? Как-никак вам уже за семьдесят, скоро будет восемьдесят".

— Перестань твердить о восьмидесяти, — сердито прервала меня Тэдди. — Можно подумать, что ты ждешь

не дожدهшься, когда наконец тебе исполнится восемьдесят лет.

— Хорошо, Тэдди — Я погладил Кики шею, что было ей приятно даже во сне. — Они скажут: "Вам за семьдесят, чего вы хотите?" А за моей спиной хихикнут: "И чего этот старикан взъелся? Все равно через год-два он будет прикован к инвалидной коляске". Конечно, — продолжал я, — у врачей своя статистика, и, по ее данным, семьдесят лет — весьма почтенный возраст, со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами. Я не порицаю врачей. Не так давно я грузил корабли в Галвестоне и таскал на спине семипудовые мешки. Мужчина в тридцать лет казался мне тогда стариком, прожившим свою жизнь.

— Неужели ты был вынужден зарабатывать на жизнь таким трудом? — спросила Тэдди строго.

— Вынужден или не вынужден, но в то время я чувствовал себя счастливым, Тэдди. Мне кажется, я рожден быть грузчиком или волжским бурлаком. Иногда я жалею, что избрал другой путь.

— Что за вздор лезет тебе в голову!

— А что касается операции, то ты ведь знаешь, что значит управлять плотом в одиночку, я тебе достаточно об этом рассказывал. Как же я справлюсь после операции? Придется ждать не меньше года, иначе могут разойтись швы. Ну, конечно, в случае крайней необходимости я бы согласился лечь под нож.

— Что за глупости! — вспылила Тэдди. — Крайняя необходимость! По-моему, именно сейчас и есть крайняя необходимость. Или тебе обязательно нужно ждать, пока ты выйдешь в море?

— Все равно, после операции я приду в себя только через много месяцев, а за это время понтоны проржавеют и плот опустится на дно лагуны. Я куплю хороший бандаж, Берни его проверит, и я полечу в Апия.

— Я куплю на всякий случай два банджа, — быстро вставила неизменно практичная Тэдди.

Мы пытались посадить Кики в ящик. Несколько раз нам уже совсем было удавалось водворить ее на место, но каким-то образом она выскакивала наружу. Она не царапалась, она просто сопротивлялась, а Кики была очень сильная кошка. В конце концов мы все же сумели закрыть ящик крышкой и несколько раз обвязать веревкой. Ящик из прочного картона был снабжен ручками и отверстиями для воздуха. Мы собирались отвезти Кики на поезде в Кейп-Код, в семью, где уже несколько недель находился Авси.

Тэдди хотела оставить Кики у себя. Но после того как Авси унесли, мы, возвращаясь вечером домой, заставляли кошку сидящей на окне и грустно разглядывающей унылые стены нашей квартиры. Тэдди решила, что Кики тоскует по синему небу, зеленой траве, открытому морю, что держать ее в городе — преступление.

В лифте Тэдди плакала, а Кики жалобно мяукала. Мы добрались до вокзала на такси и сели в поезд. За пределами города Тэдди выпустила Кики из ящика, но надела на нее ошейник с поводком. Кики не возражала: она как равноправный пассажир сидела на скамье и озиралась вокруг.

Выпускать в поезде кошек или собак из клетки не полагается, но кондуктор при виде Кики остановился и обратился к нам весьма дружелюбно. Потом он погладил Кики и сказал грустно, что когда-то у него была такая же красивая кошка.

В Бостоне мы пересели в автомобиль, а он доставил нас в Кейп-Код, в красивое имение, раскинувшееся на невысоких пологих холмах, покрытых соснами и березами. Между ними проглядывало море. Хозяин и его жена любили животных, и мы были счастливы, что Кики

попала в хорошие руки. Кики, увидев Авси после пятинедельной разлуки, не обратила на него ни малейшего внимания, а Авси как будто даже испугался.

После обеда мы сели в машину — пора было возвращаться в Бостон. Авси, успевший уже стать всеобщим любимцем, находился в доме, а Кики сидела на крыльце, повернувшись к нам спиной и, видимо, наслаждаясь великолепной погодой.

— Больше я кошек не завожу, — сказала Тэдди, смахивая слезу — Будь у нас свой дом, я бы ни за что не отдала Кики.

Машина покатила по гравию. Тэдди высунулась из окна.

— Кики, Кики! Что же ты не посмотришь на меня? Прощай, Кики! — Ее голос задрожал.

— До свидания, Кики, мой верный товарищ! — крикнул я и обнял Тэдди.

Друзья из Апия по-прежнему писали, что погода в западной части Тихого океана плохая и неустойчивая. Часто налетают штормы и даже ураганы, дует западный ветер. Месяц идет за месяцем, а долгожданных пассатов все нет и нет.

Друзья прислали мне вырезки из газет с сообщениями из Новой Зеландии, с островов Фиджи, Тонга, Самоа... В них говорилось о судах, разбившихся о рифы или погибших в открытом море. Судно компании "Мэтсон Лайн", шедшее от Фиджи к Восточному Самоа, попало в шторм, какого не может припомнить его капитан, а он исколесил весь Тихий океан.

Даже плот, писали мне, пострадал, а ведь он стоял в лагуне. Его два раза срывало с якоря и выбрасывало на берег. В конце концов Лео Шмидт, начальник полиции, приказал двадцати арестантам, занятым на дорожных работах, войти в покрытую пеной лагуну и отвести плот

в более защищенное место. Там, в миле от Апия, он и стоял теперь на якоре.

Наконец мне надоело ждать. Я решил лететь обратно в Апия, подготовить плот и выйти в море. Когда я сообщил о своем намерении Тэдди, она поглядела на меня как-то странно и сказала:

— Я придумала одну вещь.

— Какую? — поинтересовался я, не ожидая ничего хорошего.

Тэдди обняла меня.

— Я хочу сопровождать тебя.

— В Апия?

— Нет, в Австралию.

— На плоту?

— Да.

Я покачал головой:

— Это невозможно, Тэдди.

— Почему?

— Рифы, рифы, Тэдди! Путешествие будет не из легких.

— Но это все же легче, чем ждать. Сидеть здесь и ждать, ждать сообщений, которые так никогда и не приходят. Месяц за месяцем. Ты и не представляешь себе, что я пережила.

— Я знаю, Тэдди, знаю очень хорошо, но сделать ничего нельзя. Если плот наскочит на риф, его будет мотать из стороны в сторону и бить о скалу, пока от него ничего не останется. Нас смоеет и разнесет на куски. — Я снова покачал головой. — Неужели, по-твоему, я могу подвергнуть тебя такой опасности?

— Я не боюсь.

— Я знаю, что ты не боишься.

— А твоя грыжа? Что, если с тобой что-нибудь случится и ты будешь совсем один? Кто позаботится о тебе? Не говори, что этого не может быть.

— Тэдди, это моя борьба. Один — я выстою. Если плот не развалится, я приведу его в Австралию.

Я нанес мой путь — от Апия до Сиднея — на карту западной части Тихого океана и повесил ее на стену.

— Сможешь следить за моим маршрутом, — пояснил я Тэдди. — Я собираюсь делать пятьдесят — пятьдесят пять миль в день. — И я научил Тэдди высчитывать мили по показателям широты и долготы на полях карты.

Перед самым моим отъездом Тэдди спросила:

— А ты будешь, как прежде, разговаривать со мной?

— Если ты хочешь, Тэдди.

— Конечно, хочу! Ты еще спрашиваешь! Знаешь ведь, что для меня это нечто совершенно реальное.

— Знаю, Тэдди. Для меня тоже.

— Иначе я, наверное, не выдержу. Ты будешь так далеко от меня!

— Да, Тэдди, я плыву в другую часть света.

Меня разбудил голос пилота: самолет находится над Ютой, благодаря попутному ветру мы летим со скоростью шестьсот сорок миль в час. Я взглянул вниз на заснеженные пики Скалистых гор и снова закрыл глаза. В салоне показывали кинофильм, но он меня не интересовал, все мои мысли были в Апия. При такой скорости мы быстро долетим. Я живо представил себе, как плот стоит в лагуне около лесопилки Джима Кэрри, стоит и ждет меня! Привести его в порядок будет нелегко. Придется поставить новые шверты — прежние сломались в последний шторм, когда плот переползал через риф. Паруса тоже в плачевном состоянии и нуждаются в ремонте. Заплаты я поставил курам на смех, такие делают, чтобы хоть как-нибудь дотянуть до ближайшего порта. Теперь я вез целый мешок запасных парусов, правда, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Их дал мне парусный мастер с Айленд-Сити, знаток своего дела, хорошо известный на всем

Атлантическом побережье. Однажды, в поисках парусов, я заглянул к нему. Это был высокий старик могучего телосложения, с энергичным лицом, разговаривавший тихо и медленно. Стены его комнаты были увешаны снимками яхт с различным модным оснащением, но одну стену он целиком отвел яхтам с прямым парусным вооружением. Я ничего не знал об этом человеке, кроме того что он датчанин. Показав на четырехмачтовый барк, я сказал:

— Первое мое плавание — в 1908 году — я совершил на подобном судне, оно называлось "Генриетта".

Лицо старика прояснилось, он оглядел меня с головы до ног.

— Я знал "Генриетту", — сказал он в своей обычной спокойной манере. — Я плавал семь лет на "Элизабет", судне такого же типа, и одиннадцать раз обошел мыс Горн. Когда разразилась Первая мировая война, мы поставили старушку на прикол в Антафагасте, а то я, может, и по сей день плавал бы на ней. Конец войны застал меня во Фриско. Я пытался добраться до Чили и снова попасть на "Элизабет", но ни один корабль не шел на юг. Так мне и пришлось уехать в Нью-Йорк. С тех пор я живу здесь.

После некоторого раздумья он добавил:

— Вы были на "Генриетте" в 1908 году, да? Не помните ли вы судового парусника?

— Как же, как же, помню очень хорошо. Датчанин Ганс. Второй парусник тоже был датчанин.

— Вы помните что-нибудь о Гансе?

— Мы с ним спали почти рядом больше двухсот дней, пока я в Санта-Росалии не сбежал на другое судно. Он строил модели кораблей. Вечно он что-нибудь мастерил, даже когда мы огибали мыс Горн. Матросы говорили, что у него золотые руки.

— Да, это был Ганс. Мы с ним земляки, вместе росли и вместе пять лет учились своему делу. Но он кончил

учиться чуть раньше меня.

— А что с ним потом стало?

— Ганс умер в прошлом году здесь, на Айленд-Сити. Ему было около восьмидесяти лет. Больше двадцати лет он работал у меня, в этой мастерской. Я и сейчас еще храню некоторые его модели. Жена Ганса до сих пор живет в Нью-Йорке. И дочка у него есть.

Старик дал мне все нужные паруса и не взял ни цента.

Лос-Анджелес, Гавайские острова, Паго-Паго, Апиа — в наши дни за несколько часов можно облететь весь земной шар. Я снял то же самое маленькое бунгало, где жил прежде, переоделся и пошел к лагуне проведать плот. Он находился ярдах в трехстах от берега и — было время отлива — лежал на дне. Я не стал разуваться, боясь пораниться о кораллы, и прямо пошел к нему.

Вот он, мой плот, весь ожидание, весь нетерпение! При виде того, как он, одинокий и заброшенный, ставший чуть ли не кучей ржавого хлама, лежит в тихой лагуне под безжалостными лучами солнца, которые обнажают все его шрамы, я мысленно пережил наше путешествие с самого начала. Затем я взошел на борт и медленно прошелся по палубе. Плот был разбит, надо было как следует погнуть спину, чтобы привести его в пригодное для плавания состояние. Я даже усомнился, можно ли это вообще сделать. Три бочки для воды, еще державшиеся в своих креплениях около борта, почти распались на части, большинство обручей проржавело, и куски их валялись на палубе. От бамбукового настила мало что осталось — над ним поработало море. Впечатление было такое, будто ураган изрядно потрепал плот, а потом прибил к берегу

Я сел на свое обычное место около штурвала. Стояла мертвая тишина. Не было видно ни одной лодки, ни одного живого существа на поросшем пальмами берегу.

От рифа доносился грохот моря, могучий, сотрясающий землю, зовущий всех выйти на берег и плыть вдаль, к неведомым горизонтам. Как ясно слышал я этот зов! Дойдет ли эта куча проржавевшего железа до Австралии, выдержит ли? Завоует ли она, снова став плотом, славу покорителя Тихого океана или сложит свои останки на каком-нибудь рифе? Я поднялся и еще раз прошелся по палубе, ощупывая мачты и реи, штурвал, каюту, утлегарь — все, что попадалось мне на глаза, как если бы это прикосновение к железу могло выдать мне его силу или слабость. А может быть, я просто хотел передать изъеденному ржавчиной остову свою уверенность?

Дойдя до носа, я ощутил под ногами легкое покачивание — прибывающая вода приподняла плот. А когда она совсем подняла его со дна, мною овладело такое волнение, что я вдруг запел старинную песню моряков, уходящих в плавание:

На запад, на запад, на запад, вперед,
Где солнце спускается в море...

Чтобы добраться до берега, мне пришлось почти все время плыть. Джим Кэрри как раз запирает свою лесопилку на ночь и остановился на минуту поздороваться со мной.

— Мне нужны новые шверты, Джим, — сказал я после того, как мы поговорили. — Найдется у вас по-настоящему твердое дерево? Десять — двенадцать бревен диаметром два фута, длиной двенадцать?

— У меня есть как раз то, что вам нужно. Наше здешнее дерево, в воде не уступает железу.

— Дорогое?

— Вам — не будет стоить ни гроша. Скажите только, к какому сроку доставить. И может, еще что из древесины понадобится...

Мы вытащили плот из воды, очистили и покрасили понтоны и часть корпуса. Надо было проверить всю снасть, поставить новые тали, залатать или обновить паруса, закрепить на блоках, промазать гнезда или заменить другими. Я был занят с утра до вечера. Плот теперь стоял на якоре недалеко от моего бунгало, и я нанял каноэ с аутригером, чтобы ездить туда и обратно.

Погода по-прежнему была плохая. Часто по ночам меня будил треск ломающихся над бунгало ветвей деревьев, я шел к лагуне и смотрел, как над месяцем быстро мчатся облака. Когда же наконец подует юго-восточный ветер? Но ничто не предвещало изменения погоды, по утрам шел дождь, на море налетали штормы и покрывали его белой пеной.

Однажды на рассвете дверь моего бунгало распахнулась настежь. На пороге стоял запыхавшийся рыбак, мокрый с головы до ног.

— Плот уносит! — закричал он.

В один миг я натянул шорты, и мы помчались к берегу. Мы столкнули каноэ в воду и, налегая на весла, устремились вслед за плотом. Он перекатывался на волнах далеко от нас, еле видимый в предрассветной мгле. С трудом мы настигли плот, привязали к нему конец и прыгнули в воду. Схватив один якорную цепь, а другой якорь, мы изо всех сил принялись тянуть плот к коралловой платформе, к твердой основе. Вода то и дело покрывала нас с головой, приходилось выныривать на поверхность, чтобы набрать в легкие воздуха, и вскоре мы дышали, как уставшие киты. Если не остановить плот, его снесет в узкий проход для судов, он проскочит его и в конце концов сядет на мель.

Больше часа мы выбивались из сил, старались уцепиться за малейшую неровность на дне лагуны, чтобы упереться в нее ногами, изранили о кораллы руки и ноги, но плот продолжал медленно двигаться вперед. Наконец с берега заметили, в какую беду мы попали, и

выслали два катера. Они взяли нас на буксир и отвели в более защищенное место.

Когда были готовы новые обручи, в разошедшиеся бочки залили морскую воду, но только через несколько недель они прекратили течь. Когда бочки наполнили водой в первый раз, оттуда выскочили мириады обосновавшихся там тараканов и еще столько же, наверное, утонуло. Но лучше уж тараканы, чем крысы или другие твари, от которых портится вода, сказал я себе, вспомнив свои страдания на пути из Перу. По сути дела, я был тогда на волосок от смерти.

Наконец приготовления были закончены. Погода, судя по всему, и не думала улучшаться, и я назначил день выхода в море. Ждать дольше я не мог, иначе к западу от Фиджи я попал бы в самое неблагоприятное время года, когда ураганы с севера и штормы с юга будоражат море. Я решил отплыть в субботу 27 июня. Весь остров собирался выйти провожать меня, и я представлял себе берег лагуны, покрытый толпами людей с цветами, распеваящих песни. До рифа плот должны были сопровождать каноэ с аутригерами. Одним словом, прощание со мной обещало стать незабываемым для острова празднеством. Я погрузил на борт все, кроме свежих овощей и фруктов, — я решил во избежание порчи до последней минуты хранить их на складах около берега. Там дожидались своей очереди груды кокосовых орехов, ананасов, бананов, а главное — лимонов, предупреждающих цингу. Мешок с картофелем и луком уже занял свое место на плоту.

Плот отбуксировали к небольшой крытой пристани "Юнион стимшип компани", где бананы, копру и зерна какао грузили на лихтеры, которые доставляли их к большим пароходам. Здесь я наполнил бочки свежей водой. Попробовал воду несколько раз — вроде бы ничего, но, присмотревшись, заметил, что в ней что-то

плавает. Тогда я подозвал самоанцев, наблюдавших за моей работой, и спросил, что бы это такое могло быть.

— Тараканы! — воскликнули они со смехом.

Я поделился своим горем с Бобом Даусоном, начальником механического цеха, где мне так великолепно починили рули, и он подал прекрасную идею: надо отдать воду на анализ в больничную лабораторию. Я так и сделал. Ответ, и очень убедительный, не заставил себя ждать: вода кишела микробами и бациллами, яйцами тараканов, частями сдохших тараканов и другой нечистью. Постояв несколько дней под тропическим солнцем, она станет смертельной отравой.

— С таким же успехом в бочке могла бы лежатьдохлая крыса? — поинтересовался я.

— Да уж хуже быть не может.

Я отправился на плот, отвязал бочки, вылил воду и несколько часов подряд мыл их. Потом я снова взял пробу и отнес на анализ. "Немного лучше, но все еще плохо", — сказал лаборант и дал мне хлорида для очистки воды. Я снова опорожнил бочки и с помощью самоанцев катал их по палубе, ставил в наклонное положение, одним словом, делал все, что мог, разве что не разбирал их на части, снова наполнил водой, добавил хлорида и отнес пробу на анализ. Вода все еще не была совершенно чистой, но я решил, что буду следить за ней и, если она запахнет, добавлю хлорида.

Вечером я обедал на веранде небольшой гостиницы. Официантка — самоанская девушка — принесла мне кофе и, наливая его в чашку, спокойно произнесла:

— Капитан "Алоха Гавайи" только что сказал, что последует за плотом в море и несколько дней будет кружиться около вас с киноаппаратом. Он сказал, что снимет каждое ваше движение, а потом продаст ленты в Соединенных Штатах.

Девушка, наполовину китайка, была очень неглупа.

— Он говорил это серьезно? — спросил я.

— Да, конечно. Он сидел с женой и со своими людьми, говорили они очень тихо, но я все слышала.

Я поблагодарил ее и ничего не сказал. Если это правда, парень обесценит мои фильмы, и те, что уже есть, и те, что я еще собираюсь сделать. А я-то надеялся, что они помогут мне покрыть расходы! Он сможет снимать меня в любом виде, выбирать наиболее благоприятное освещение, с утра до вечера вертеться вокруг меня, то приближаясь, то удаляясь, использовать любые линзы. И я не смогу ему помешать! Законом действия такого рода не возбраняются, судно у парня большое и быстрое. Я этого капитана знал: огромный здоровенный детина бандитского вида с тяжелой челюстью — именно такой тип и мог замыслить нечто подобное. Раз или два он спрашивал, когда я собираюсь пуститься в путь, но вообще-то избегал меня. Он хорошо говорил по-английски, хотя это был не родной для него язык. Еще я знал, что он годами околачивался на островах Тихого океана и недавно женился на стройной, как лань, черноглазой гавайской девушке с примесью китайской крови, носившей невероятно узкие китайские платья. На его яхте — в длину она имела 70 футов — было два дизеля и парусное вооружение шлюпа. На ней развевался флаг неизвестной национальной принадлежности. Команда его состояла из трех бородатых островитян, подобранных в разных местах, по всей видимости авантюристов.

"Вот чего ты хочешь, красавчик! — подумал я, усаживаясь в кресле поудобнее. — Ты, конечно, можешь танцевать вокруг моего плота, сколько твоей душе угодно. Обойти вокруг него тебе не труднее, чем вокруг затонувшего бочонка. Снимая свой фильм, ты еще будешь подсмеиваться надо мной. Ни днем, ни ночью я

не смогу уклониться от твоего объектива — ведь мне придется все время быть на палубе".

Я поднялся и налил себе еще кофе. Я слышал о кинопиратах, парень, наверное, принадлежит к их числу, если надеется таким образом сорвать большой куш. А может, он промышляет контрабандой или разыскивает останки кораблей, потерпевших крушение. В нем и в его людях было что-то подозрительное. А что, если официантка ошиблась? Хотя вроде голова у нее на месте. Надо разузнать побольше. Может, толстая Нина, что сидит внизу за стойкой бара, в курсе дела? Капитан любит выпить и просиживает иногда в баре целые дни, Нина могла что-нибудь услышать. Девушки в гостиницах, хоть они и кажутся глухими, знают абсолютно все. Я спустился в бар и заказал пива.

У крупной, мужеподобной Нины с грубыми чертами лица и резким пронзительным голосом был не менее бесхитростный вид, чем у коровы, жующей свою жвачку. Молодой ее нельзя было назвать. Я два раза танцевал с ней, но отнюдь не по своему желанию. Нина буквально вытащила меня из кресла, откуда я смотрел танец живота, исполнявшийся на эстраде в угоду туристам и путешествующим коммерсантам, а вырваться из ее объятий не так-то просто. При этом она взвизгнула:

— Первый раз у меня кавалер с седой бородой до самого пуза!

Народу в баре было еще мало, и я перекинулся с Ниной несколькими словами о том о сем, сказал, что вот, мол, собираюсь отплыть, и между прочим заметил, что поговаривают, будто капитан "Алоха Гавайи" хочет последовать за плотом и снять фильм. Нина смотрела на меня без всякого выражения, словно не понимала, о чем я говорю, или ей это было совершенно неинтересно. Тут ей пришлось пойти обслуживать клиента на другом конце зала. Вернувшись через несколько минут, она сказала своим непререкаемым тоном:

— Капитан хочет снимать вас в море — я сама слышала.

— Слышала?

— Да.

— Когда?

— Вчера.

— Может, это только разговоры?

— Нет, он на самом деле собирается! — почти закричала Нина, возмущенная моим недоверием.

— Хорошо, — быстро сказал я, чтобы успокоить ее. — Может, он сделает несколько снимков и для меня и перед возвращением в Апия даст их мне. Ты, Нина, никому ничего не говори, я сам с ним потолкую.

Я пошел к моему каноэ, спустил его на воду и поплыл к плоту. В этот час лагуна и пальмы как бы растворялись в тишине, становились бледным отражением своего дневного облика.

Долго сидел я у штурвала. Тишина становилась все ощутимее, ее нарушал только гул волн у рифа. Я старался собраться с мыслями. Что делать? Этот кинозаговор — дело серьезное, и медлить нельзя. Выход, очевидно, один: выйти в море втайне от всех. Но как? Мне нужно большое лоцманское судно, которое провело бы меня за риф и отбуксировало миль на двадцать — тридцать в море. Как сделать это незаметно для всех, и в первую очередь, конечно, для капитана "Алоха Гавайи"? На Самоа понятия "тайна" вообще не существует, а уж что касается меня — и подавно, ведь все с нетерпением ждали дня моего отъезда.

В Апия у меня есть друзья — может быть, они что-нибудь придумают? Один — я беспомощен. Даже сейчас, когда я по темному берегу шел к каноэ, сотни глаз следили за мной из прятавшихся среди пальм хижин. Я и шагу не мог сделать, чтобы это не стало немедленно

известно всему острову, как же мне вывести плот тайком?

Надо поговорить с капитаном Джонсом, начальником порта и лоцманом, и Энди Коллинсом. Как говорится, ум хорошо, а два лучше. Эти два человека знают Самоа, пользуются уважением на островах. Капитан Джонс — честнейший человек, ветеран всех войн, которые вела Англия, начиная с бурской. Несмотря на преклонный возраст, он крепок как дуб и моряк первоклассный. В его ведении не только порт, но и все судоходство Самоа. Американец Энди Коллинс — главный инженер "Апиа харбор проджект", самого крупного сооружения в южной части Тихого океана. Он строит в лагуне большую пристань со складскими помещениями. Это энергичный, хладнокровный и находчивый человек. Поговорю-ка я сначала с ним.

В семь часов утра, когда Коллинс подъехал на машине к конторе, я уже ждал его.

— У меня неприятности, Энди! — сказал я.

— Заходите, выпьем кофе, и вы расскажете, в чем дело.

В комнате самоанец подметал пол. Пока Энди варил кофе, он кончил и ушел.

— Сахар? — Энди протянул мне через стол чашку и налил себе.

Я поведал ему о своих неприятностях. Он выслушал, не переставая размешивать сахар в чашке, и просто сказал:

— На прошлой неделе я получил из Канады два буксира, один большой, второй поменьше. Большой предназначен в основном для плавания в открытом море. Мы еще им не пользовались. Можете взять его в любое время.

— А мощность у него достаточная?

— Он может растащить ваш плот на части.

— Мне надо, Энди, чтобы он отвел меня по крайней мере миль на тридцать от берега.

— Лучше на пятьдесят, Билл, тогда вы будете в полной безопасности.

Энди хорошо знал побережье и течения.

— А капитан Джонс может быть шкипером?

— На "Савайи" есть свой шкипер, но капитан Джонс все устроит.

— Главное, Энди, чтобы никто ничего не пронюхал, иначе эта яхта увяжется за мной.

— Все будет шито-крыто, Билл. Я предупрежу капитана Джонса. Когда он придет на работу, я созвонюсь с ним, а потом заеду и поговорю. Не беспокойтесь, готовьте плот, мы его выведем из Апия так, что никто не узнает. Когда вы хотите выйти?

— Сегодня.

Мы обменялись рукопожатиями, и он занялся своими чертежами.

Я оформил отход в Сидней и зашел в кабинет к капитану Джонсу. Он разложил на столе карты и ткнул толстым пальцем в юго-восточную оконечность Новой Каледонии.

— Как доплывете сюда, будете в полной безопасности, — сказал он. — Отсюда пойдете точно на запад, пока не приблизитесь к Австралии, где-нибудь в районе Брисбена. Там вас течением отнесет к Сиднею.

— А попаду ли я в Новую Каледонию? — усомнился я. — При теперешнем направлении ветра меня скорее отнесет к северу от Новых Гебридов.

— Ни в коем случае, оттуда вам не дойти до Австралии. — Капитан Джонс, привыкший всю жизнь командовать, объяснить не умел. В углу, на старом бюро, стояло ведро с полинезийским напитком — кавой. Капитан зачерпнул ковшик и выпил.

— Вы готовы выйти сегодня вечером? — спросил он.

— Да.

— Пойду позову Крейтона, капитана "Савайи". Он, по-моему, где-то здесь.

Кабинет капитана Джонса находился на втором этаже таможни, из окна как на ладони были видны маленькая пристань "Юнион стимшип компани", где стоял мой плот, вся гавань и проход через риф. Он вышел на крыльцо, с минуту посмотрел, как островитяне грузят лихтеры, и пронзительно свистнул.

— Крейтон сейчас явится, — сообщил он, возвратясь.

Через несколько минут мы услышали на лестнице шаги, и в комнату вошел коренастый самоанец средних лет, в хаки. Капитан Джонс поднялся ему навстречу:

— Сегодня в десять часов вечера твое судно подойдет к плоту мистера Уиллиса, возьмет его на буксир и выведет из гавани. Через несколько сот ярдов ты остановишься, удлинишь буксирный канат и выведешь плот за риф, в море. Ты пойдешь прямо на север или куда тебе прикажет мистер Уиллис. Мистер Уиллис скажет, на какой скорости идти. Всю ночь следи за его сигналами. В восемь часов утра, если мистер Уиллис прикажет, ты отвяжешь плот и возвратишься в Апия. Если ночью ты пойдешь на север, возвращаться будешь на юг. Одного из твоих людей дай в помощь мистеру Уиллису. На буксире, значит, останешься ты с механиком и один матрос. Теперь иди к себе и скажи людям, чтобы они пошли домой поспать, ночью может быть срочная работа. Ни одна живая душа — даже жена или кто-нибудь из команды — не должна знать, что ты сегодня выведешь плот. Это сверхсекретно.

Капитан Джонс говорил спокойно, без всякого выражения, как машина, но по лицу Крейтона я видел, что каждое слово врезалось в его память.

По пути домой я зашел на почту и забрал мешок со специальной почтой, которую я согласился взять с собой

для увековечения моего перехода с островов Самоа в Австралию. В мешке было больше тысячи писем.

В гостинице я потребовал счет, сказав, что хочу последнюю ночь провести на плоту — акклиматизироваться. Перед уходом я сел и написал письмо премьер-министру: я объяснил причины, побудившие меня поступить таким образом, извинился и поблагодарил за оказанное мне содействие. Написал я и Тэдди. Ей я тоже сообщил, в чем дело, и просил не волноваться, что бы ни писали обо мне газеты. Кроме того, я предупредил ее, что во избежание неприятных неожиданностей не буду сообщать по радио свои координаты, а ограничусь словами: "Все хорошо!" — чтобы ни "Алоха Гавайи", ни какое-либо другое судно не узнали, где я нахожусь.

Последние часы я прятался в каком-то доме от налетевшей на Самоа бури с грозой и ливнем.

В половине десятого вечера маленькая пристань "Юнион стимшип компани" была погружена во мрак. В конце пристани стояла кучка самоанцев (днем они грузили лихтеры, а ночевали на пристани, под навесом). Дождь барабанил по тонкому навесу и ручьями скатывался с него на несколько шлюпок, плясавших на воде рядом с моим плотом.

Когда я начал спускаться вниз, меня осветила молния, медленно и неуверенно, словно прощупывая себе путь между плотными тучами, перерезавшая зигзагом небо.

"Савайи" стоял ярдах в пятидесяти от меня, рядом с меньшим буксиром. Его двигатель прогрелся, но из-за бури шума почти не было слышно. Я махнул рукой, буксир медленно двинулся вперед и подошел к плоту. Матрос бросил мне новехонький дакроновый канат толщиной три дюйма, и я привязал его к плоту.

— Куда вы, мистер Уиллис? — спросил один из самоанцев, подойдя к краю пристани. Он был в лава-лава, которые оставляли верхнюю часть его тела обнаженной.

— Хочу стать немного подальше от пристани, — ответил я.

Самоанцы подошли ближе.

Берег осветили фары автомобиля, шедшего к пристани, и через несколько секунд я увидел Энди Коллинса. Он спустился на "Савайи" и подошел к краю плота.

— Все в порядке, Билл?

— Лучше и быть не может, Энди. Сработало как часы.

Он чуть не сломал мне руку, пожимая ее, и я было решил, что он выпил. Так мне не жали руку даже на Самоа, острове сильных людей.

Когда он вышел на пристань, я взглянул на темное здание таможни. На маленьком крыльце стояла фигура в белом. А может, это мне только показалось.

Плот медленно двинулся от пристани в ночь. Пройдя половину лагуны, буксир остановился, и капитан Крейтон приблизился к краю плота.

— Держать точно на север? — спросил он.

— Да, точно на север.

— Если я пойду слишком быстро, зажгите сигнальный огонь.

— Хорошо. Я думаю, двух-трех узлов будет достаточно.

— Погода ужасная, — сказал он и ушел в рулевую рубку, приказав своим людям удлинить буксирный канат. Через десять минут мы миновали риф и пошли на север, в бурную мглу.

XIV

Я пошел на нос посмотреть, как идет плот. Погода стала вроде бы чуть лучше, но сзади, над горами Уполу, продолжали неистовствовать молнии.

— Хорошо идет, — произнес голос рядом со мной. Это был Уильям Крейтон, матрос-самоанец из того же клана, что и капитан буксира. Он останется со мной до утра. Голова его не покрыта, на мокром от дождя лице сверкают черные глаза. Какая улыбка у самоанцев, какие зубы! Они разгрызают шелуху кокосового ореха, которую вообще-то сдирают топором. Мы пошли обратно на корму и стали в двери каюты, спасаясь от потоков дождя.

Час за часом Крейтон рассказывал мне, как он плавал среди островов. Он на море с самого детства. Иногда я смотрел на компас, чтобы проверить курс, но мы все время шли точно на север, очевидно, на буксире был хороший рулевой.

Наконец начало светать. В восемь часов я подал буксиру знак остановиться. Мы прошли около тридцати пяти миль. Я отвязал буксирный канат и поставил с помощью Крейтона кливер и бизань, а затем приладил шесть швертов. Три из них не входили в колодцы, я обтесал их топором. Шверты я опустил на пять футов ниже понтонов. Когда все было готово, буксир поравнялся с плотом, и Крейтон, примерившись, прыгнул на его борт. Ловкий, наверное, моряк! Затем буксир отработал поворот кругом, дал три свистка и пошел по направлению к Апия. Капитан и матросы махали мне на прощание, но палуба у буксира была низкая, он очень скоро скрылся за гребнями волн. Было девять часов утра 27 июня 1964 года.

Ветер немного стих, и в десять часов я поднял грот. Я держал курс на северо-запад, чтобы обойти Савайи, большой остров из группы Самоа к северо-востоку от Уполу. Весь день я был занят тем, что прилаживал с каждого борта плота по железной штанге длиной двенадцать футов. Это была часть придуманного мною в Нью-Йорке усовершенствования, позволявшего добавить два паруса. Усовершенствование состояло в том, что к топу мачты, значительно выше грота, крепился рей длиной двадцать футов. Он выступал с обеих сторон на четыре фута и удерживал штанги в вертикальном положении. К концам рея крепились фаловые углы двух дополнительных парусов, а шкотовые и галсовые — к штангам, выступающим за борта плота. Оба паруса были стакселями длиной около тридцати футов, шириной — около десяти по нижней шкаторине. Дополнительный рей находился высоко, и стакселя не мешали гроту. Следуя на фордевинд, я мог ставить оба "крыла" сразу — они выступали далеко по бокам и ловили ветер, не попадавший на бизани и грот. Следуя круто к ветру (в бейдевинд), я мог использовать один боковой парус. Верхний рей и обе штанги из литой железной трубки диаметром три дюйма могли выдержать любой напор ветра. Их сварили, а также поставили на место верхний рей Боб Даусон и механики завода "Паблик воркс". А вот штангами мне пришлось заняться самому после выхода в море, иначе они помешали бы подойти за водой к маленькой пристани в Апиа.

Было уже далеко за полдень, когда я покончил со штангами, нарезал и приладил весь бегучий такелаж [*]. Солнце уже садилось, когда я поднял один парус. Двенадцать раз мне пришлось подымать и опускать трос, чтобы фаловый угол достиг блока, после чего я привязал стаксель-фал к дополнительным поручням пиллерсов. Один угол паруса я подтянул к концу штанги,

а другой — к краю плота. Парус стоял великолепно, его можно было поворачивать под любым углом.

К концу ночи, первой ночи, которую я снова провел в море, ветер затих, а потом и вовсе замер. Все утро был штиль. Примерно в полдень на юге из дымки тумана показались горы Савайи. Меня несло обратно. Штиль держался весь день и всю ночь, и утром я снова увидел горы Савайи, на этот раз гораздо ближе. Я вспомнил, что как-то промышлявший недалеко от Паго-Паго японский траулер, потеряв вследствие пожара управление, дрейфовал триста пятьдесят миль, в конце концов наскочил на риф и разбился.

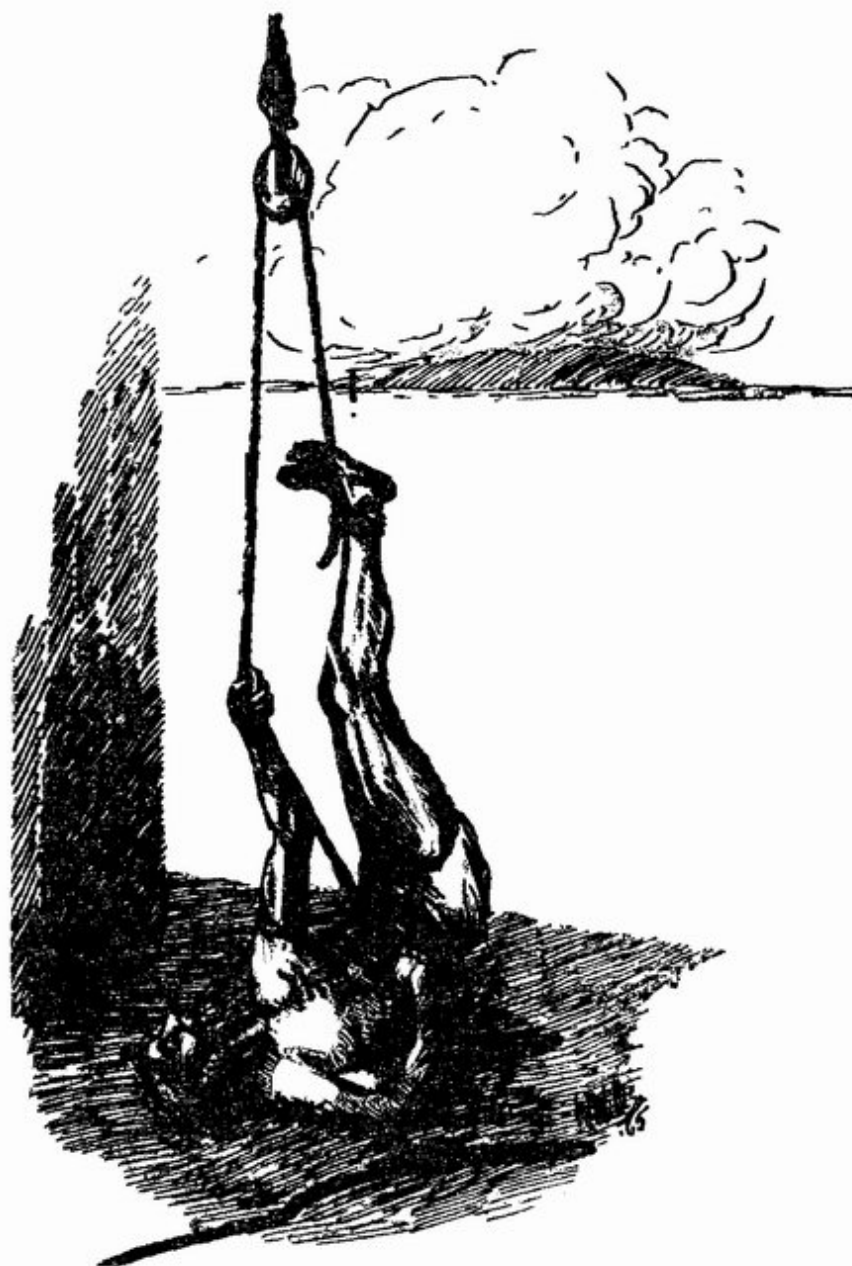
Штиль все еще держался. Днем я уже различал очертания покрытых лесом высоких гор Савайев. К вечеру я решил послать сигнал SOS: авось его примет радиостанция Апия, мне на помощь направят лоцманское судно, и оно отбуксирует меня подальше от Савайев, хотя бы миль на двадцать.

Я настроил рацию на автоматический сигнал SOS и на нужную волну, стал перед ней на колени и повернул ручку. Рация висела на стене каюты, позади штурвала. Послав несколько позывных, я ощутил в левом боку резкую боль, настолько резкую, что мне пришлось остановиться. Передохнув, я попытался продолжить передачу, но мне опять помешал приступ невыносимой боли. Что делать? Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Горы, казалось, были уже совсем рядом, и я снова взялся за ручку передатчика.левой рукой я зажал болевшее место, а правой продолжал вертеть ручку. Я, конечно, понимал, что это проделки моей грыжи, но такой боли я прежде не испытывал. Вскоре мне пришлось прекратить передачу.

Я лег рядом со штурвалом и помассировал живот... Как будто немного легче. Усилием воли я заставил себя встать и снова взяться за рацию: мешкать нельзя, иначе ночью меня понесет на скалы. Я несколько раз повернул

ручку, но не тут-то было! Дело, по-видимому, принимало серьезный оборот.

Я снова лег и, как мог, ощупал себя. Мне показалось, что у меня ущемление, именно то, чего так боялись врачи. Теперь меня ждут гангрена, прободение, может быть, даже смерть вблизи Савайев. "Ущемление, гангрена, прободение... Прекрати немедленно!" — приказал я себе. Мне ясно представился весь ход событий. После выхода из Апия я все время напрягался — то ставил грот, то подымал и опускал шверты, а о штангах и говорить не приходится — тут и для троих здоровых мужчин было бы дела по горло. Я вспомнил, что весь день чувствовал себя неважно, голова у меня была какая-то несвежая и временами начинала кружиться.



Я раскачивался вместе с плотом взад и вперед... *(Рисунок автора.)*

Лежа на спине, я поднял ноги, чтобы расслабить живот, и попытался вправить грыжу, то есть защемленный кусок кишки. Сначала я действовал осторожно, но, видя, что это не помогает, в отчаянии нажал сильнее. Я пробовал и так, и эдак, все было

напрасно. Мне даже показалось, что я делаю лишь хуже. Живот мой раздулся. Время от времени я поглядывал на горы Савайи, возвышающиеся над зеркальной гладью моря, но теперь, когда мне угрожала большая опасность, они уже не казались такими страшными.

Свое состояние я объяснил себе так: кишечник заблокирован, и образующиеся там под воздействием температуры тела газы не имеют выхода. Тем временем ущемленный кусочек кишки гниет и рано или поздно даст прободение. Но когда? И что произойдет потом? Будь поблизости врач, он бы разрезал мне живот, увеличил отверстие между мускулами — первоначальную грыжу, вложил кишку обратно и снова зашил. Так по крайней мере я думал. Не такая уж сложная процедура, если человек лежит под анестезией на операционном столе.

Чего я только не делал! Фантазия моя была уже бессильна. "А что, если самому сделать операцию? — мелькнула у меня безумная мысль. — Ведь небольшой разрез в нужном месте может совершить чудо. И резать-то всего ничего, какой-нибудь дюйм, не больше. Ну а если я ошибусь, разрежу не там, где надо, или возьму слишком глубоко — что тогда? Вздор, конечно!"

У меня было несколько таблеток морфия, но я решил, что не стоит оглушать себя ими. Теперь, как никогда, мне нужна была ясная голова.

Меня распирало все больше и больше, чувство тошноты усилилось, временами я ощущал позывы к рвоте. К животу нельзя было притронуться. С трудом я разжег оба примуса, нагрел две кастрюли морской воды и поставил себе на живот. Я согревал его несколько часов подряд, но легче мне не становилось, я испугался, что только врежу себе, и потушил примусы. Мне казалось, что, если расслабить мускулы, защемленный кусочек кишки возвратится на свое место. Хорошо еще, что эти дни я сидел на самой простой пище — галетах,

бобах, кислой капусте, ее мой желудок всегда легко усваивал, да и в Апия последнее время ел крайне мало. Это, несомненно, спасло меня, иначе я бы уже сошел с ума от боли и молил Всевышнего послать мне конец.

Солнце почти зашло. Я видел горы, и они, казалось, смотрели на меня. Они представлялись мне человеческими существами, которые все понимают, но решили остаться непреклонными и не помогать мне. Время шло, надо было что-нибудь придумать. Но что? Чего я еще не пробовал? Все, что мог, я, по-моему, сделал. И тут меня осенило.

Я взял трос толщиной в полдюйма, пропустил сквозь блок, свисавший со шлюпбалки, вделанной в пол каюты около самой двери, один конец захлестнул вокруг колен, а за другой стал подтягивать вверх нижнюю часть тела, все время прислушиваясь, не усиливается ли боль. В конце концов на палубе остались только мои плечи. Тогда я закрепил трос. Как будто стало немного легче.

Я раскачивался вместе с плотом взад и вперед, пытался повернуться то в одну сторону, то в другую, а кишечник всем своим весом давил на легкие и сердце. Я то подтягивал себя, чуть ли не оставаясь стоять на голове, то отпускал, то повисал на одной ноге, стараясь определить, при каком положении боль в животе притупляется.

В восемь часов вечера я почувствовал облегчение. Я даже вздремнул в подвешенном состоянии. До живота еще нельзя было дотронуться, но защемленный кусок кишки ушел, по-видимому, внутрь. Только убедившись, что это действительно так, я осторожно опустился на палубу. Долго еще я лежал без движения, не веря, что опасность миновала.

Какой прекрасной мне показалась сразу ночь, каким великолепным море! "Мама! — воскликнул я в крайнем волнении. — Это твои ангелы-хранители спасли меня!" Как часто мать говорила об ангелах-хранителях! Я

подумал о Тэдди, и ее образ предстал передо мной с такой отчетливостью, что я сразу понял: там, в далеком Нью-Йорке, она в этот момент вспоминает меня.

Лежа на спине, я надел бандаж. Отличный бандаж, но и он не удержится на месте при напряженной работе. Ночь кончилась, начало светать, серое небо отделилось от серого моря, и постепенно передо мной во всей своей красе встали Савайи, подобно роскошному одеянию ниспадающие складками в море. Теперь они были значительно дальше от меня и совсем впереди. Значит, западным течением меня несло на восток. Ветра еще не было, плот по-прежнему находился целиком во власти моря.

Днем я заметил позади себя едва различимые контуры гор Уполу. Меня продолжало относить на восток, как японский траулер. За час до захода солнца поднялся долгожданный ветер, парус наполнился, и я полным ходом двинулся вперед. Вскоре ветер набрал силу, и я поставил левый дополнительный парус. Ночью ветер еще больше отошел к востоку, я обрасопил рей, поставил второй дополнительный парус и пошел на фордевинд. Первый раз я шел под всеми парусами: два новых боковых паруса, две бизани и грот, а перед ним — дополнительный парус, закрепленный на кливерфале и натянутый до самой палубы. Паруса теперь простирались с самого верхнего рея и на десять футов выходили за борта. Их общая ширина составила сорок футов. Издали плот, очевидно, походил на плывущего по морю белоснежного лебедя с полураскрытыми крыльями. Но если ветер вдруг переменится, мне придется здорово попотеть, чтобы он не превратил паруса в клочья.

Из-за длинного рея, укрепленного высоко на мачте, плот качало куда больше прежнего, но дополнительная скорость от двух боковых парусов и большая маневренность помогут мне обойти рифы, ждущие

впереди, а это куда важнее, чем неудобства, связанные с качкой. Когда я вышел из Кальяо, передо мной лежали четыре тысячи миль чистого моря. То ли дело теперь! Рифы представляли собой грозную опасность, и с момента выхода из Апия я не спускал глаз с карты.

Небо затянулось облаками, ветер достиг почти штормовой силы, и я уже собрался спустить грот, но в этот момент среди облаков показался просвет, и, понадеявшись, что скоро выглянет и солнце, я решил, что спущу парус попозже, а пока произведу обсервацию — ведь уже несколько дней у меня не было этой возможности. С секстантом в руках я стоял в двери каюты, прикрывая его от брызг, чтобы, как только солнце проглянет сквозь дымку тумана и бегущие облака, выскочить на палубу. По моим расчетам, до полудня оставалось несколько минут.

Вдруг плот повернулся против ветра и грот забился о мачту с такой силой, что казалось, еще немного, и от него останутся одни клочья. Весь плот сотрясался. Я отложил секстант, кинулся на палубу и спустил грот. Плот снова пошел на фордевинд, парус надулся и прижал рей к утлегарю. Я, как всегда, подполз под утлегарь, чтобы отвязать парус и закрепить сезень, но грот все время вырывался. Я чувствовал себя лилипутом, сражающимся с великаном. И тут я услышал зловещий звук рвущейся парусины! Я удвоил усилия и почти уже добился своего, как вдруг парус, издав звук, не предвещавший ничего хорошего, вырвался, а меня отбросило за борт. Удержаться было невозможно — между утлегарем и последним пиллерсом не было даже простой веревки.

Я очутился под водой, над моей головой покачивался плот.

Отчаянно пытался я выбраться из-под него на поверхность и ухватиться за что-нибудь руками. Ага, вот

цепь, соединяющая рули! Я уцепился за нее ногой, потом впился обеими руками и влез на плот. Больше получаса ушло у меня на то, чтобы убрать и закрепить парус.

На всякий случай я привязал канат к основанию задней мачты, а конец бросил в море — пусть плывет футах в пятидесяти от плота, вдруг я снова упаду в воду. Но как это меня отбросило в море? Не иначе как пребывание в Нью-Йорке подействовало на меня расслабляюще.

Время теряло свое значение. Снова главенствующими стали курс, по которому я шел, астрономические наблюдения три раза в день, если светило солнце, и ветер. Кроме того, я опять начал вести вахтенный журнал в те редкие минуты, когда не мешала качка. Острова Самоа превратились в смутное воспоминание. Смеющиеся лица исчезли за зелеными стенами живых изгородей, не стало мягкого сияния костров перед хижинами, тихих голосов, поющих о скалах, о море, о древних богах...

Чем же кончится это путешествие, начавшееся столь зловеще?

Я обнаружил, что в одной бочке обруч разошелся и находившаяся над ним вода вытекла. Но две бочки стояли целые и невредимые, кроме того, я собрал немного дождевой воды, так что в ближайшее время смерть от жажды мне не угрожала. Картофель быстро портился, почти весь пришлось выкинуть за борт. Его, наверное, выкопали несколько месяцев назад и держали на складе. Зато лук, прибывший, как и картошка, из Новой Зеландии, хорошо переносил плавание.

Четыре дня я из-за плохой погоды не давал о себе знать. Теперь я настроил рацию и направил на военно-воздушную базу на Фиджи обычный текст: "Сальвита III, все в порядке, Уиллис". Сначала я предполагал сообщать

свои координаты, но, вспомнив о кинопиратах, решил скрывать, где нахожусь. Передавал я в 22.00 по Гринвичу на волне 8364 киллогерца.

Дул все время зюйд-тень-ост. Как, обогнув Фиджи, я попаду к Новой Каледонии? Меня уже отнесло на север, к двенадцатой параллели, в сторону от моего курса, и мне трудно было заставить плот двигаться на юг.

Вдали среди волн кувыркалось несколько птиц. Наверное, они удачливее меня — я пока не поймал ни одной рыбы, хотя почти не вытаскиваю из воды удилище с приманкой или блесной. Мало того, не нашлось даже ни одной акулы, которая из дружеского расположения ко мне пожертвовала бы своей печенью, чтобы восполнить недостаток витаминов в моем рационе. Я не переставал сожалеть о покинутых при поспешном ночном бегстве грудах кокосовых орехов, бананов, авокадо, особенно же апельсинов и лимонов.

Кики и Авси незримо присутствуют на плоту. Часто, когда я стою у штурвала и смотрю вперед, мне кажется, что вот сейчас они выйдут из-за угла каюты. Мне их очень недостает.

Я даже решил, что если повстречаю английское судно, идущее прямо из Англии, то попрошу кошку. По законам Австралии она сможет высадиться на берег.

Нежданно-негаданно мне довелось попить. Проверяя свои припасы, я наткнулся на большую банку внушительного вида. В памяти всплыла Лима. Больше года назад, когда я подготавливал плот к выходу в море, один австралиец из Лимы подарил мне сливовый пудинг. Он просил не открывать его до Рождества. Честность прежде всего — я упрятал банку на дно ящика с провизией и совершенно забыл о ее существовании. Все сто тридцать дней плавания от Кальяо до Апия и позднее, пока я находился в Нью-Йорке, пудинг лежал с остальными консервами и терпеливо дожидался Рождества. Изголодавшемуся человеку эта банка сулила

массу радостей. Но уговор есть уговор — надо ждать Рождества. Полноте, да надо ли? Стоял июль, в Австралию я попаду — если попаду — наверняка раньше Рождества. Тогда я решил открыть банку 19 августа, когда мне исполнится семьдесят один год. Вот это действительно будет праздник! И я выложил пудинг, чтобы не забыть о нем. Через два дня он попался мне на глаза, и мой рот сразу наполнился слюной. И тут я решил открыть его немедленно. В самом деле: до 19 августа я мог налететь на риф и разбить плот или же упасть за борт, как уже однажды было, и закончить путешествие на дне морском, и тогда изысканный сливовый пудинг, несомненно, пропал бы. Глупо подвергать его такой опасности после того, как он столько прождал. Да и потом, что здесь за торжество мой день рождения? На море праздник, когда светит солнце и ветер дует в нужном направлении. Я открыл банку. Открывая, я по запаху уже знал, что пудинг великолепный. Он действительно не обманул моих ожиданий, и в тот же день я его прикончил.

Погода, видимо, и не думала налаживаться. Нижнюю часть всех штагов, то есть то место, которое подвержено воздействию волн и брызг, я укрепил цепями и тросом. Кроме того, я спустил грот и нашил на него, начиная с самого верха, кусок парусины длиной шесть футов. Теперь он мог сколько угодно тереться о грота-штаг. Почти все швы на гроте были сделаны заново, но он все же сохранил форму и гордую надпись "Возраст не помеха". Правда, большинство букв, нашитых еще на Сити-Айленд, давно истрепалось, и их пришлось подновлять, некоторые исчезли совсем, и на их месте я написал краской новые.

Я висел вверх ногами и раскачивался взад и вперед: была высокая волна, плот сильно качало. Меня снова мучило ущемление. Вот уже несколько недель грыжа не

давала мне покоя. После первой атаки около Савайев боль фактически не покидала меня. Этого, наверное, и следовало ожидать при моем образе жизни: непрерывное физическое напряжение, днем и ночью, отсутствие свежей пищи, недостаток сна. Кроме того, как я уже говорил, бандаж не держался на месте.

Я висел, пока веревки не врезались мне в тело. Тогда я ненадолго опустился на палубу, но потом снова вдел ноги в петлю и вздернул себя вверх. Весил я немного и без особого труда подымал себя на любую высоту. Я снова повторил все, что уже испробовал около Савайев, и после почти двухчасовых усилий защемленный кусочек кишки вошел обратно. На этот раз лечение очень ослабило меня, и я долго лежал без движения, прежде чем нашел в себе силы подняться.

Несколько дней ветер дул почти точно с юга и медленно, но неуклонно нес меня к Новым Гебридам. Это беспокоило меня. Я не знал, что делать: изменить курс, обогнуть острова с севера, а затем попытаться подойти к Австралии со стороны Кораллового моря или держаться прежнего курса в надежде, что ветер отойдет к востоку. Последнее было связано с риском. Я часами простаивал над картой, не в силах принять решение. Если в Коралловом море задует зюйд, мне придется преодолеть Большой Барьерный риф или проходить к северу от него через Торресов пролив. В этом случае я легко могу попасть вместо Австралии на Новую Гвинею.

Шкоты и галсы, дублированные дюймовым тросом, стояли, как железные, грот, казалось, вот-вот улетит. Подгоняемый шквалистыми юго-восточными ветрами, я шел на север. Три дня назад среди ночи меня внезапно обуял страх, что я попаду на Новые Гебриды, и я тут же переменял курс. Грот я не стал спускать, если его

сорвет, придется ставить другие паруса, все, что есть у меня в запасе: я шел к подветренному берегу

Я кипятил воду, чтобы выпить чашку чая, как вдруг волна ударила в каюту с такой силой, что я испугался, как бы ее не сорвало. Плот сотрясся, его захлестнули потоки воды. Только благодаря тому, что главный удар приняли на себя три бочки с водой, прикрепленные к палубе, каюта осталась на месте.

Главное, что меня сейчас волновало, — насколько близко к берегу я иду. Уже три дня я не вел наблюдений по солнцу и двигался только по счислению. По моим последним подсчетам, не очень, впрочем, точным, я находился в опасной близости от одного из восточных островов Новых Гебридов — Понтекост или Маэво, самых северных островов в этой части архипелага. Утром мне дважды померещилось, что я вижу на горизонте очертания гор, но оба раза они быстро исчезли среди потоков дождя, развеваемых порывами ветра. Судя по счислению, я находился где-то у южной оконечности Маэво, но я понимал, что мог ошибиться в расчетах на много миль. Приближалась ночь. "Что-то принесет мне она?" — думал я, вглядываясь в темноту. Шум прибрежных бурунов достигнет моего слуха только тогда, когда я уже буду среди них. Я взглянул на рангоут. Выдержит ли он? Канаты и штаги должны выдержать, шкоты, галсы, фалы и брасы я дублировал, а штаги снабдил предохранителями. Только грот внушал мне опасения. Он возвышался, как большая белая стена, готовая принять на себя удар всех ветров. Впереди, подобно маленьким вымпелам, трепыхались на ветру оторвавшиеся буквы надписи "Возраст не помеха".

Неужели около Маэво я наскочу на мель? В лоции Гидрографического управления США про Маэво сказано, что его крутой, лишенный гаваней и удобных подходов берег почти необитаем и только где-то в глубине острова имеется миссия. Если я миную Маэво, я возьму

курс снова на запад, постараюсь пройти между островами Банкс, обогнуть мыс Камберленд и северную оконечность Эспириту-Санто, самого большого из Ново-Гебридских островов.

Только после этого начнется настоящее испытание — в Коралловом море, полном рифов, и на Большом Барьерном рифе, бастионе Восточной Австралии, который, говорят, невозможно пересечь.

Может быть, это моя последняя ночь — если плот налетит на берег, я погибну в бурунах. Я решил послать сигнал SOS в надежде, что его примет торговое судно, идущее между островами, тогда, по крайней мере, будет известно, где я нахожусь. Ближайшая радиостанция — в Нумее, на Новой Каледонии, в сотнях миль от меня, но попытка не пытка.

Я снял с рации чехол и хотел повернуть ручки, чтобы разогреть ее, но они не поддавались. Я проверил индикаторную лампочку — она не загорелась. Я попробовал еще несколько раз, но шкала оставалась мертвой. Рация уже несколько недель барахлила, а теперь, по-видимому, выдохлась окончательно.

Я натянул чехол обратно, поднялся и стал вглядываться в темноту. Вдруг меня сковало острое ощущение одиночества. Я вскарабкался на мачту, но, кроме темнеющего моря, ничего не увидел. Час спустя наступила ночь. Она тянулась так же долго, так же медленно, как все остальные ночи. В кромешной мгле завывающий ветер пел какие-то обрывки песен, волны с грохотом бросались друг на друга, в ярости щетинясь белыми гребешками, вздымались вверх и в изнеможении опускались.

Рассвело. К восходу солнца небо немного очистилось, и у меня появилась надежда, что можно будет произвести обсервацию. Утром между облаками показались голубые пятна, и за полчаса до полудня выглянуло солнце. Я немедленно взялся за секстант.

Кончил я обсервацию, только уверившись, что солнце миновало зенит и начало опускаться. Тогда я пошел в каюту, сел и, выведя среднее из десяти наибольших результатов, определил широту, на которой находился. Оказалось, что я прошел Маэво, прошел Новые Гебриды! Я чуть не закричал от радости. Полученный результат — $15^{\circ}48'$ — я сверил с картой. Сомнений быть не могло — я находился к северу от Маэво. Я несколько раз проверил расчеты, Значит, кончилась напряженная борьба за то, чтобы обогнуть острова с севера, но успокаиваться было еще рано: на карте рядом с Маэво стояла надпись:

"Внимание!

По некоторым сведениям, северный берег Маэво тянется на северо-запад на шесть миль дальше, чем указано на карте (1947)".

Я решил еще четыре-пять часов держаться прежнего курса, а потом повернуть на запад и между островами Банкс пройти в Коралловое море. Днем я попытаюсь определить долготу.

Только в восемь вечера я повернул на запад. К вечеру погода стала значительно лучше, но солнце не вышло, и я так и не определил долготу. Я сидел на узкой доске, которую укрепил между каютой и рулевым устройством, с тем чтобы видеть компас и управлять штурвалом сидя, и вглядывался в темноту, все еще не вполне уверенный, что избежал опасности. Постепенно мною овладела дремота, я разложил около каюты надувной матрац и лег. Несмотря на усталость, я не решался заснуть, не зная, что меня ждет.

Я впадал в дремоту и просыпался, внимательно прислушивался, словно слыша их впервые, к голосам моря и ветра, но в конце концов голова моя, будто налитая свинцом, упала на подушку. Я забыл обо всем, и плот продолжил свой путь без рулевого.

После полуночи я вскочил, будто кто-то толкнул меня, и взглянул на компас. Вест-тень-норд, конечно. Я спал, но сколько? Море успокоилось, кругом было тихо, и это поразило меня. Ночь была очень темная, и волны мягко ударялись о понтоны. Я обошел компасную стойку, направился к штурвалу и окаменел. Прямо за моей спиной возвышалась огромная, черная в темноте гора. Казалось, протяни руку — и дотронешься до нее. Миновал я уже ее или течение несет плот на нее? Она походила на грозное чудовище, покорившее море, а плот — на беспомощное существо, всецело находящееся во власти его чар.

Наконец мысли мои пришли в порядок, голова прояснилась. Это был остров, который я миновал во сне. Плот, лишенный управления, прошел рядом. Я посмотрел на небо, затем снова на пугающую громаду, словно бы подавившую своей мощью море и небо и все еще притягивавшую меня к себе.

Постепенно гора стала уменьшаться, значит, плот удалялся и я был в безопасности. По сведениям моей карты, это был Мера-Лава, самый южный и восточный из островов Банкс. Следовательно, после того как я изменил курс, меня довольно сильно отнесло на север.

Вскоре после рассвета я увидел впереди небольшой остров. Ветер стих, а когда вошло солнце, я попал чуть ли не в полный штиль. Остров находился милях в пяти от меня, впереди и немного правее.

Когда утренний туман рассеялся, я вскарабкался на мачту. В нескольких местах я увидел землю, но порывы дождя с ветром, налетавшие на море, то и дело скрывали ее от меня. Шквал с ливнем несколько раз прошел и над плотом. Мера-Лава, хотя и находился еще совсем недалеко, то и дело скрывался в облаках и потоках дождя. Море все утро было спокойным. Только легкая зыбь нарушала его гладь да кое-где набегавшая рябь. Меня медленно несло на юго-запад, к небольшому

островку, который на моей карте назывался Мериг. В лоции о нем сообщались такие сведения: "Островок Мериг (Сент-Клер), координаты 14°17' южной широты, 167°48' восточной долготы, высота над уровнем моря 200 футов, гавани нет, пристать к нему трудно. В 1934 году насчитывал 27 жителей".

О Мера-Лава в лоции говорилось, что он находится в шестнадцати милях к юго-востоку от Мерига и является самым юго-восточным из островов Банкс. Его высота над уровнем моря — две тысячи девятьсот футов, берега обрывистые.

Весь день я дрейфовал. Острова то появлялись передо мной из сетки ливня, то исчезали. Во второй половине дня я прошел примерно в миле от Мерига. Я не отрываясь смотрел в бинокль на берег — вдруг покажется направляющееся ко мне с берега каноэ! — но берег производил впечатление необитаемого, среди кокосовых пальм, покрывавших остров, не было никаких признаков жизни. Мне страшно хотелось свежей пищи, может быть, от ее отсутствия я страдал даже больше, чем сознавал, она была мне просто необходима, ведь с момента выхода из Апия я не поймал ни одной рыбы. Кокосовые орехи вдохнули бы в меня новую жизнь. Я всмотрелся в небо и в море: ничто не предвещало изменения погоды. В это время я разглядел позади Мерига другой остров, который принял за Санта-Марию, также входящий в группу островов Банкс. До него было миль двадцать.

Прошел еще час, а я все стоял около каюты и не спускал глаз с зеленого до самой верхней точки острова, который сейчас находился у меня почти на траверзе. Пальмы были унизаны плодами — я ясно различал их в бинокль. Несколько орехов были нужны мне позарез. Лук начал портиться, картошку я всю выбросил, а до Австралии еще было далеко и оставалась самая трудная часть пути.

Я снял с крыши каюты самоанское каноэ — оно было привязано рядом с каяком, — проверил аутригер и спустил на воду. Кроме двух весел, я взял с собой резак, топор, веревку, удилице, банку для вычерпывания воды и несколько мешков для кокосовых орехов. Не забыл я и спички.

Я, конечно, отлично понимал, что оставлять плот в открытом море непростительное легкомыслие, но я хотел кокосовых орехов и свежей пищи, моя душа требовала их.

Я прошел вдоль скалистого берега, о который билось море. Ни одного выступа, куда я мог бы выпрыгнуть и вытащить каноэ. Теперь я уже совершенно отчетливо видел пальмы и кокосовые орехи. Под деревьями нигде не было хижин, около берега не танцевали на волнах привязанные каноэ. Я медленно греб, все время поглядывая на плот. Он стоял без движения, словно бы удерживаемый якорем. Но вот я обогнул остров, и плот исчез из поля зрения. "Хорошо бы пожить здесь, — подумал я, — в этой зеленой клетке, полной фруктов и рыбы, омаров и моллюсков! Но сколько здесь выдержишь, пока тебя не начнет грызть тоска по открытому морю и свободе, для которой рожден человек?"

Море покрылось легкими морщинками, небо чуть потемнело. Одним ударом весла, едва не перевернув каноэ, я сделал поворот на сто восемьдесят градусов и налег на весло так, что вода забурлила. Через минуту показался плот. Паруса, как и прежде, беспомощно свисали, но плот дрейфовал. Я направил каноэ за ним следом. Вдруг крепление аутригера лопнуло и вся деревянная рама распалась. Я слишком резко повернул, и крепление из кокосового волокна, должно быть прогнившее на крыше от дождя и солнца, не выдержало.

Маленькое каноэ, шаткое и неустойчивое, наверняка перевернулось бы, попытайся я приладить аутригер, сидя в лодке. Пришлось спуститься в воду и там, орудуя ножом, леской приладить аутригер. В это время лопнуло его переднее крепление. Я плавал и нырял вокруг лодки в ожившем море, то и дело погружаясь под воду. Основным орудием мне служили зубы: левая рука у меня почти бездействовала — неделю назад, ослабляя галс на гроте, я едва не оторвал себе указательный палец. Только через час я смог снова сесть в каноэ и догонять плот, покачивавшийся в темнеющем море на порядочном расстоянии от меня. Греб я теперь очень осторожно, ведь, кроме креплений, могли отказать и другие части аутригера, а их в воде почти невозможно починить. Тащился я еле-еле и догнал "Возраст не помеха" лишь час спустя после наступления темноты.

Новые Гебриды остались позади. Я прошел между мысом Камберленд, которым они заканчивались на северо-западе, и Санта-Марией и взял теперь курс на юг, к Коралловому морю. Дул по-прежнему зюйд-тень-ост, и я постепенно двигался на юго-запад, в сторону Большого Барьерного рифа. О нем мне много рассказывал один мой друг, капитан небольшого судна каботажного плавания, — он доставлял припасы из Дарвина миссиям, разбросанным на безлюдном северо-западном побережье Австралии. Впоследствии он приобрел люггер и занялся ловом жемчуга и трепангов на Большом рифе. Работали у него малайские и австралийские аборигены.

По словам капитана, Большой Барьерный риф тянется к северу от Брисбена почти на тысячу триста миль, до самого мыса Йорк, северной оконечности Австралии. Ширина его колеблется от двадцати до тридцати миль. Между внутренней, или восточной, стороной этого огромного скопления рифов и Австралийским материком находится так называемый Внутренний канал шириной от двадцати до тридцати миль, сужающийся к северу. Канал этот довольно глубокий, но изобилует скалистыми островами. По нему ходят суда каботажного плавания и суда, направляющиеся через Торресов пролив на север — в Индонезию, Японию и Китай. Судходство по каналу сопряжено с большими трудностями, и большинство судов берет с собой нескольких лоцманов. Сам Большой Барьерный риф считается почти непроходимым.

Если я не смогу пробиться через скопление отдельных рифов, блокирующих выход из Кораллового моря с юга, мне придется сделать попытку пройти через

Большой риф во Внутренний канал или же обогнуть весь барьер с севера и пристать где-нибудь в Новой Гвинее или на фактически необитаемом северном побережье Австралии.

Во второй половине дня ветер отошел к востоку. Теперь я мог идти почти точно на юг — лучшего и желать было нельзя. Месяц только что родился — увижу ли я при его свете прибрежные холмы Австралии? Днем впервые за все время я сделал несколько рисунков. Указательный палец левой руки еще болел, но я надеялся, что в конце концов он заживет.

Ночь на 8 августа выдалась бурная, грот пришлось спустить. Резкими порывами налетал зюйд-тень-ост. Часов в десять вечера я пошел на нос перетянуть кливер на левый борт — мне казалось, что тогда плот пойдет лучше. Повернувшись спиной к утлегарю, я изо всех сил тянул шкот, пропущенный через блок, намертво приделанный к борту плота, но парус стоял на ветру, как мраморная доска. Тянул я одной рукой, а другой держался за передний пиллерс, но шкот не поддавался, и в конце концов я ухватился за него обеими руками. Однако и это не помогло. Я отдыхал, начинал тянуть снова, но кливер продолжал упорствовать. Тогда я всей своей тяжестью повис на веревке, но вдруг что-то треснуло и я, отлетев назад, ударился о железный утлегарь и упал на палубу. Падая, я успел подумать, что если я ударюсь о железо, то сломаю себе спину.

Несколько секунд я лежал оглушенный, сознавая, что произошло нечто ужасное. Передо мной на палубе валялся блок с пропущенным через него шкотом. Проржавевшая от морской воды скоба, скреплявшая блок с бортом плота, не выдержала напора. Неужели я сломал спину? Я не мог подняться на ноги и передвигался ползком, как попавшая под автомобиль собака.

Некоторое время я лежал около каюты, стараясь определить, насколько серьезно я пострадал, затем попытался встать, но не смог. Ноги мои стали словно ватными и совершенно меня не слушались. Я продолжал лежать, а плот шел в ночи, волны подымали и опускали его, по звездам я видел, что он благодаря кливеру и двойной бизани идет довольно точно по курсу, но меня волновало одно: насколько серьезно я ранен. Не сломал ли я позвоночник, не парализованы ли у меня ноги? Смогу я встать или так и останусь лежать на палубе?

Я лежал и думал. Все, что произошло после выхода из Апия, казалось мне малозначительным и отступило на задний план. Теперь, когда я не мог шевельнуть ногами, никогда раньше мне не отказывавшими, все предстало передо мной в ином свете.

Время шло, плот качался на волнах, а я все думал о своих неподвижных ногах. Я в каком-то месте сломал спину. Неужели я так и останусь парализованным?

Паруса были наполнены ветром, только кливер я никак не мог разглядеть с того места, где лежал. Я посмотрел на мачту и на самоанский флаг, казавшийся в ночной тьме небольшим черным лоскутом. Я поднял его в Апия, когда шел вдоль пристани "Юнион стимшип компани", и с тех пор не снимал. Сначала это был большой флаг, но он изрядно поистрепался в бурях около Новых Гебридов. Я решил сохранить его до Австралии, а там снять и оставить на память, хотя вообще-то не люблю всякие сувениры. Флаг служил мне своеобразным флюгером, всегда показывая направление ветра, а последнее время, когда я шел на юг в крутой бейдевинд, стал совершенно незаменимым. "Если бы я тянул шкот одной рукой, а другой держался за пиллерсы, ничего бы не случилось, — подумал я. — Но кто способен перетянуть кливер в таком положении одной рукой?"

Сколько я так пролежу? Я кое-что знал о переломах позвоночника и их последствиях — недаром я десять лет грузил суда в Галвестоне, Техас-Сити и Хьюстоне. Десять лет я каждый день спускался в трюмы судов, неся на спине грузы — бревна, листы железа, кипы хлопка, уголь, и видел, как под их тяжестью падали люди. Видел я это и на строительстве мостов и нефтепромыслах, на верфях и лесозаготовках в штатах Вашингтон и Орегон, в те дни, когда работа среди рушащихся гигантов была сопряжена со смертельной опасностью.

Я стянул с переборки висевшую на ней одежду, подложил под голову и заснул. Пробудился я от мучительного кошмара. Мне снилось, что я окровавленными пальцами цепляюсь за риф, а буруны ударяются о мое тело, грозя разбить его о скалу. Наконец огромная волна подхватила и выбросила меня на берег, и я, чуть живой, лежу, не в силах пошевелиться, и слышу, как за моей спиной с грохотом накатываются на риф волны, которые вот-вот унесут меня обратно в море. В этот момент я проснулся.

Наконец ночь кончилась. Я засыпал, просыпался, смотрел в темноту и размышлял над своим положением. Боли я не ощущал, но все тело мое было как бы сковано, и я по-прежнему не мог шевелить ногами. Так продолжалось весь день. Плот шел сам по себе, словно бы вовсе и не нуждаясь во мне. Я знал, что меня несет на север, к Соломоновым островам. Если я не смогу в ближайшее время подняться, рано или поздно я попаду в какой-нибудь залив, прячущийся в мангровых зарослях. Соломоновы острова были когда-то охотничьим угольем работорговцев, "вербовавших" туземцев на плантации. В детстве я зачитывался книгами о Балли Хайесе и других зловещих капитанах. Многие капитаны отчаливали от родных берегов, стремясь принять участие в кровавой торговле, но не

все возвращались обратно: разграбленные и сожженные, их корабли тонули где-нибудь в незнакомом заливе, а людей туземцы съедали или же, содрав с трупов отполированной акульей шкурой кожу, выставляли их на мелких местах для приманки акул. А может быть, меня отнесет на запад и я высажусь на Новой Гвинее. Все зависело от ветра и течений.

Прошло двое суток, а я все еще не мог шевелить ногами. Руки мои не утратили своей силы, и, когда я был голоден, я подползал на руках к своим припасам и доставал банку с бобами и сухарь. К счастью, достать еду было нетрудно — все мои припасы хранились в деревянных ящиках, а те стояли в каюте прямо на полу. На месте ушиба образовалась огромная опухоль, и от прикосновения к ней меня пронзала острая боль. Я не сомневался, что где-то у меня перелом. Боль ощущалась немного вправо от позвоночника. Паралич, решил я. Вызван поражением спинного мозга или позвонка, может быть, переломом или даже просто вывихом.

На третью ночь я сочинил песню. Чувствовал я себя немного лучше, у меня появились проблески надежды, а может, просто пробудилась энергия, многие месяцы проявлявшаяся в непрерывной деятельности, а теперь скованная внезапным ударом. Я выбрал для нее мелодию очень популярной песни каторжников, которых в начале XIX века отправляли в Австралию. В Америке она известна под названием "Тюремная песня".

Мой плот в ночи прокладывал путь,
Чернел океан вокруг.
Когда я, усталый, прилег вздремнуть,
Мне сон привиделся вдруг.

Мне снилось: сквозь брызги и пены валы
Шла мама моя ко мне.

И нежный голос за ревом волны,
Как в детстве, звучал во сне.

И в дождь, и в холод, и в бурю, и в зной,
Где б якорь я ни бросал,
Был матери образ всюду со мной,
Меня из бед выручал.

В своей неуютной постели,
Под ветра и бури вой,
Я спал, как дитя в колыбели,
Согретый ее рукой.

После того как я сочинил стихи, все время тихо напевая мелодию, мною вдруг овладело — совершенно непонятно почему — ощущение счастья и покоя. Оно не покидало меня всю ночь и весь следующий день, и когда солнце село в море и тьма снова окутала плот, я запел. Мой голос, вибрировавший внутри меня, как если бы тысячи струн были приведены в движение, так взволновал меня, что я сочинил еще одну песню. На этот раз я взял мелодию другой старинной популярной песни — я слышал ее еще на "Генриетте". В песне рассказывалось о девушке, которая согрешила в Гамбурге и от стыда не решилась прийти к своей умирающей матери, хотя та звала ее.

Тысячи миль мне надо пройти,
Качается плот на волне.
Солнце и звезды мне светят в пути,
Но кто улыбнется мне?

Тысячи миль я совсем один.

Долог мой трудный путь.
Смерть глядит из морских глубин,
Шторм не дает уснуть.

Бьются о борт с шумом валы,
Ветер свистит в парусах.
Днем и ночью грохот волны,
Как канонада, в ушах.

Лишь с парусами я дружбу веду.
Буря их в клочья рвет.
Солнце лучами их золотит,
Ветер ночами ревет.

Чайка кружит надо мной в вышине,
Машет крылом вослед.
Может быть, чайка, из дому мне
Ты принесла привет?

Через три дня я встал. Держась обеими руками, я стоял у компаса и смотрел, каким курсом идет плот. Мне пришлось чуть ли не повиснуть на руках, чтобы не упасть, но я стоял, а это было главное. Шесть дней я лежал парализованный и только что поднялся на ноги.

Ноги мои были словно ватные, при каждом толчке и сотрясении плота мне казалось, что они вот-вот откажут, но я повисал на руках и продолжал стоять. С каждой минутой силы возвращались ко мне. Я глядел на небо, на море, на всю вселенную и чуть ли не кричал от радости. Устав, я прилег отдохнуть, но вскоре опять поднялся. Из какого-то таинственного источника к моим ногам приливалась сила. Я победил недуг!

Несколько часов спустя я уже смог обойти плот. Это походило на свидание после долгой разлуки. Все снасти

были на месте, и паруса, и мачты, и мокрая палуба, а впереди, высоко над головой, — большой кливер, тот самый парус, который я не смог перетянуть во время шторма. Это было 12 августа, я находился на 13°47' южной широты и 163°15' восточной долготы.

Мясо подушкой свисало с моих ягодиц. Приближаясь к какому-нибудь предмету, я, зная, какую боль может причинить прикосновение к нему ушибленным местом, в ужасе задерживал дыхание. Лежать мне приходилось на животе или на левом боку. Я попытался разглядеть в зеркало, что делается у меня сзади, и увидел вместо ягодиц сплошную красно-черную массу. Такого я никогда не видел на человеческом теле.

Определив 12 августа свои координаты, я понял, что у меня почти нет шансов пройти через Коралловое море на юг и попасть в Сидней. Меня отнесло слишком далеко на север, я теперь находился в ста восьмидесяти милях от Сан-Кристовала на Соломоновых островах. Но я не отказался от мысли дойти до Австралии — через рифы Кораллового моря и, если придется, через сам Большой Барьерный риф или в обход его северной оконечности. Многие зависело от моей спины — пока я передвигался, как калека, а время от времени, к моему ужасу, ноги немели. В остальном мое состояние быстро улучшалось.

Через два дня после выздоровления я стоял утром у компаса и смотрел на серое море. Вдруг недалеко от плота вынырнула акула, преследовавшая корифену. Размерами головы и толщиной туловища гигантское существо скорее напоминало кита, но серповидная пасть, усаженная изнутри зубами, не оставляла сомнений в том, что это все же акула. Ее туловище — светло-синее на спине и белоснежное на брюхе — резко выделялось на унылом сером фоне моря и неба. Едва чудовище щелкнуло пастью, корифена кинулась прочь со скоростью реактивного снаряда и была такова. Подобной акулы я еще никогда не видел, какое-то время

мне даже было страшно ходить по палубе, через которую перекачивались волны. Неплохо, конечно, было бы заполучить ее печень и восполнить отсутствие свежей пищи, но даже если бы я подцепил хищницу на крючок, она бы потащила за собой плот, как игрушку, залила его тоннами воды и в конце концов сломала цепь, вертлюг и трос.

Рано утром на палубу упала летучая рыба, а через час еще одна. Обе они оказались почти точно у моих ног. Первую я съел сырой, чтобы не потерять ничего из ее питательных качеств, а вторую поджарил на завтрак с бобами и кислой капустой. Это царское блюдо я запил чашкой горячего кофе.

Как всегда по утрам, море было очень красиво. Летучие рыбы сверкающими стрелами вырывались из волн и, подхваченные ветром, выписывали длинную красивую дугу на фоне радуги, украшавшей серебристый занавес редющего дождя. А вдали среди волн кувыркались две белые птички, мне они казались развевающимися носовыми платками.

Я проснулся и начал всматриваться в темноту, охваченный страшным предчувствием, — я заснул с мыслью о том, что курс мой пролегает точно по маршруту следования судов на линии Гонконг — Сидней. За кормой я увидел огни судна. Как будто кто-то разбудил меня! Ночь была темная, облачная, видимость, естественно, неважная. Я решил, что от судна меня отделяют две-три мили. Море волновалось.

Опознавательных огней у меня не было, и я зажег топовый огонь, чтобы дать знать о себе, а через несколько минут начал подавать фонарем сигналы SOS. Я немало перенес после выхода из Апия, кто знает, что меня еще ждет впереди, между рифами; мне хотелось, чтобы знали — и в первую очередь, конечно, Тэдди, — где я нахожусь. Рация моя с самого начала барахлила,

скорее всего мои сигналы не дошли до радиостанции военно-воздушных сил в Суве, да и к тому же я ни разу не сообщал свои координаты. Прошло уже почти два месяца после выхода из Апия, и многие наверняка считали меня погибшим.

Раз десять я подал сигнал SOS, и тут с мостика судна — оно теперь находилось примерно в миле от меня — ответили. Сигналы подавались слишком быстро, я не успел их разобрать и ответил еще одним SOS. Судно опять засигналило, я снова ничего не понял и подал еще один сигнал бедствия. Не получив ответа, я пошел в каюту, написал по азбуке Морзе слово "плот" и несколько раз передал его. Ответные сигналы посыпались со скоростью пулеметной очереди, скорее всего это был какой-то малайский диалект. Я еще раз просигналил "ПЛОТ", но корабль как будто удалялся. Разочарованный, я ушел в каюту, решив забыть о происшествии и утешиться чашкой кофе.

Было это всего несколько минут спустя после полуночи 19 августа — моего дня рождения. Мне исполнился 71 год. Конечно, в этот день Тэдди было бы вдвойне приятно узнать, что я жив и продолжаю плыть.

Я стоял на коленях возле примуса, и вдруг каюту залило светом бортового иллюминатора. Корабль приблизился к корме плота, его огромный прожектор, направленный прямо на плот, ослепительно сверкал. Едва я успел поднять американский флаг, как он прошел вдоль моего борта так близко и на такой скорости, что я испугался, как бы он меня не опрокинул.

— Кто вы? — прокричал голос с капитанского мостика.

— Капитан Уиллис на плоту "Возраст не помеха".

— Что вам нужно?

— Чтобы вы сообщили о встрече со мной, больше ничего.

Судно прошло чуть ли не по мне, паруса, которые оно заслонило от ветра, поникли. Я закричал, чтобы оно уходило. При повороте судно чуть не задело плот кормой: она находилась не более как в десяти — пятнадцати футах от меня. Затем оно исчезло в ночи. Некоторое время я еще видел кормовые огни, затем они показывались только в промежутках между большими волнами. Корабль направлялся в Честерфилд, туда же держал курс и я, после того как обогнул мыс Камберленд. Днем он, очевидно, минует Честерфилд и все рифы в южной части Кораллового моря, а потом по чистой воде пойдет в Брисбен или Сидней.

Настроение у меня было прекрасное — через день Тэдди узнает, что я жив. Впрочем, узнает ли? Я вспомнил случай с судном "Вакатане". Последнее передало сообщение о встрече со мной на Гавайи — там находилась ближайшая радиостанция береговой охраны США, — но Тэдди получила его лишь два месяца спустя. Все это время она томилась в Нью-Йорке, не зная, жив ли я, а сообщение, всеми забытое, лежало в какой-то дыре. Наконец она получила радиограмму из Вашингтона, датированную 25 октября 1963 года:

"17 АВГУСТА СУДНО ВАКАТАНЕ СООБЩИЛО 02,4 ЮЖНОЙ ШИРОТЫ 108,4 ЗАПАДНОЙ ВИДЕЛИ ПЛОТ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА АМЕРИКАНСКИМ ФЛАГОМ ШЕЛ ФОРДЕВИНД ТОЧНО КУРСУ 28 ТОЧКА СДЕЛАЛИ ДВА КРУГА ДВУХ КАБЕЛЬТОВЫХ БОРТУ ОДИН ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВ СИГНАЛОВ БЕДСТВИЯ НЕ ПОДАВАЛ".

Я еще не оправился от падения, с моих ягодиц свисала подушка мяса, малейшее прикосновение к ушибленному месту причиняло невыносимую боль, и, глядя на мостик корабля, я подумал, разумно ли продолжать плавание. Вот передо мной спасительный выход... Но мысль эта мелькнула на один только миг.

В тот же день Тэдди получила из австралийского консульства в Нью-Йорке телеграмму:

"МИССИС УИЛЬЯМ УИЛЛИС
АВСТРАЛИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПЕРЕДАЮТ СООБЩЕНИЕ
КАПИТАНА ТОРГОВОГО СУДНА БАРОН ЖЕДБУРГ ВИДЕЛ
ПЛОТ ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА 19 АВГУСТА 00. 15 ГРИНВИЧУ
КООРДИНАТЫ 15,44 ЮЖНОЙ 159,44 ВОСТОЧНОЙ".

Два дня спустя ветра утром почти не было, и плот еле двигался. К полудню наступил полный штиль, еще через несколько часов море словно покрылось стеклом, нигде не было даже признаков ряби или малейшей зыби. Шли часы, и мне начало казаться, что плот стоит на зеркале. Безупречную синеву неба только на севере нарушало какое-то темное пятно. Оно медленно разрасталось, но ничего опасного не предвещало. Вдруг из него вытянулись, словно крылья, два отростка. В конце концов небо потемнело и поднялся ветер, но такой сначала несильный, что я даже не стал спускать грот. Спустя некоторое время я все же решил спустить его, но было уже поздно: шкоты и галсы стояли, как стальные брусья, грот по твердости не уступал листу железа, и я сразу увидел, что мне с ним не совладать. Пришлось его оставить.

Это была дикая гонка сквозь ночь, сопровождавшаяся рискованными маневрами со штурвалом, чтобы удержать плот фордевинд. К восходу солнца стало тише, а через час я спустил грот, чтобы исправить ущерб, нанесенный ночью.

Следующие два дня солнце не показывалось. Когда на третий день оно вышло и я определил свои координаты, выяснилось, что от места, определенного по счислению, меня отделяют почти сорок миль. Впервые я забрался так далеко на юг, но, к сожалению, мне не удалось удержаться на этой широте.

26 августа милях в трех от плота по его левому борту прошло судно. Из-за густой облачности я заметил его, лишь когда оно оказалось за моим траверзом. Я выставил три красных сигнала, но судно — огромная

неуклюжая посуда устаревшей конструкции с двигателем на корме — продолжало свой путь, безусловно не замечая меня. Я хотел попросить передать сообщение обо мне на случай, если предыдущий корабль этого не сделал.

Темная длиннокрылая птица, чуть ли не касаясь воды, пронеслась над серой пустыней. На море упали первые тяжелые капли дождя. Плот качался и скрипел, а там, где нос разбивал высокую волну, море было покрыто пеной на целый акр. Бамбуковый настил почти весь был сорван или смыт с палубы, и вода журчала между досками обшивки, иногда доплескиваясь до самой моей головы. Подо мной непрестанно бились, шлепались и ворчали волны.

День был мрачный, но вечер вознаградил меня захватывающим дух зрелищем. На небе словно взорвался огромный бриллиант, осколки его рассыпались в разные стороны и застыли в этом положении. На темной карте неба они образовали тысячи геометрических узоров — крестов, треугольников, квадратов всех размеров. Глядя на это великолепие, нетрудно представить себе любые формы, которые удастся увидеть человеческому взору.

Погода стояла сумрачная, почти все время приходилось идти по счислению. Но вот небо очистилось, я смог произвести обсервацию и выяснил, что прямо на моем пути лежит риф Марион.

Обойдя риф Марион с севера, я взял на запад, по направлению к Большому Барьерному рифу, находившемуся приблизительно в ста двадцати милях от меня. Там мне предстояло последнее испытание. Рассматривая риф Марион с мачты и видя, как о него разбиваются волны, я решил, что, попади мой плот в такой прибой, он бы не выдержал. Кое-где волны

разбивались с такой силой, что мне, хоть я и находился на расстоянии нескольких миль, показалось, что я слышу грохот волн и ощущаю мощь их ударов.

Спина моя все еще находилась в плачевном состоянии, и я продолжал прихрамывать, хотя опухоль спала.

На имевшейся у меня карте № 825 Гидрографического управления США южная часть Тихого океана была показана только до 147° восточной долготы, а побережье Австралии — лишь до 19° южной широты, следовательно, Большой барьер мне предстояло пересекать вслепую. Я подготовился к наступлению на него: рядом с дверью повесил на гвоздь бинокль — оттуда мне ничего не стоило его достать, проверил все снасти, добавил, где надо, канатов и усилил крепления. Бухты каната лежали у меня под рукой на палубе, я в любой миг мог схватить их, если какая-нибудь снасть не выдержит. Самодельный якорь находился тут же, при первой необходимости я мог немедленно им воспользоваться. Я приспособил для этой цели старый ящик из-под снарядов, мне его перед выходом из Кальяо подарил старый командир. Я привязал его к бочкам с водой и держал в нем тиски, болты, зажимы, цепи, хомутики... Пока я лежал парализованный, мой настоящий якорь смыло, и я решил заменить его ящиком. Для этого я наполнил его сломанными цепями и другим железным хламом и привязал к бочкам, чтобы не смыла волна.

Я вышел за пределы моей карты и плыл теперь наугад, но знал, что приближаюсь к Большому Барьерному рифу. С утра я держал курс на запад, после обеда повернул на северо-запад. В шесть стемнело, и я спустил грот — пусть ночью плот идет медленнее. Утром я надеялся увидеть риф. Еще засветло я взобрался на мачту и осмотрел горизонт с таким же чувством, какое,

должно быть, испытывали первые исследователи этих незнакомых и опасных вод. Приближаясь к чужому берегу, они, чтобы найти правильный путь, измеряли глубину моря лотом с носа корабля или с посылаемых вперед лодок.

От направления течений, от того, когда я войду в соприкосновение с рифом, зависело, смогу я его пройти или нет. Но можно ли его вообще пройти? Я не знал ничего, кроме того, что иду к коралловой стене, простирающейся почти на тысячу триста миль вдоль побережья Австралии, непроходимой, по всем сведениям, хотя, разумеется, проходы через нее наверняка существуют.

Впереди буруны! Так я увидел Барьерный риф. Взобравшись высоко на мачту, я разглядел на горизонте белую, не очень длинную линию. По сторонам от нее я не заметил ничего. А что сзади? Может быть, это изолированный риф или выступ, отделившийся от стены? Может быть, это западня, которая захлопнется за мной, если я пойду дальше? Я шел прямо на белую линию. Солнце садилось, и, не решаясь приблизиться к ней в темноте, я слез с мачты, спустил грот и перешел на другой галс: лучше приблизиться к бурунам утром, когда я буду видеть, куда иду.

Утром я не заметил ни малейших признаков рифа и, подняв грот, снова взял курс на запад. Дул ровный ветер, и я надеялся подойти к рифу около полудня, хотя не знал, в каком направлении он находится и куда меня отнесло за ночь. Если плот сядет на риф, я свяжу каяк и каноэ так, чтобы получился катамаран, в одну лодку сложу все ценные инструменты и вещи, в другую сяду сам, постараюсь перебраться через рифы во Внутренний канал и таким образом в конечном итоге достигну Австралии.

Весь день я шел на запад, но риф не показывался. Вечером я спустил грот и взял курс на северо-запад. На следующий день после обеда я заметил с мачты несколько линий бурунов, выбрал, как мне казалось, наиболее удобный проход между ними и пошел к нему. Взобравшись чуть позже на мачту, я увидел, что со всех сторон окружен рифами. Я попал в ловушку.

Час спустя я приблизился к одному из них. Приглушенно грохотали буруны, разбивавшиеся о плот под различными углами. Глядя сквозь спицы штурвала, я выбрал подходящее место. Плот беспрекословно слушался рулей.

Солнце сияло над голубым морем и отражалось в белых стенах падающей воды. Передо мной вздымались грохочущие водопады. Я взглянул за борт, двигаясь вдоль края рифа, и увидел его покрытую ракушками и водорослями поверхность грязно-зеленого и желто-черного цвета. Море теперь не грохотало, а напевало какую-то колыбельную — ветра почти не было. Очевидно, начался отлив. Я плыл над верхушками кораллов, по каналу, имевшему в ширину ярдов пятьдесят. Грот еще стоял на своем месте — он давал мне возможность вырывать, куда я хотел, но шверты я поднял до отказа. Так я шел с четверть мили, пока не коснулся дном рифа, но плот освободился, я прошел ярдов двадцать и снова сел на риф, плот второй раз вырвался из плена, прошел еще тридцать ярдов и сел на риф всерьез и надолго. Я спустил грот, закрепил его и поднялся на мачту, чтобы оглядеться. Был отлив, риф обнажался. Я находился недалеко от его внешнего края, где еще била высокая волна. На внутренней части, в которую я вошел по узкому каналу, уже выступили большие пятна кораллов, но большая его часть скрывалась под водой. Риф имел, по-видимому, неправильную форму и тянулся на много миль. Определить свое местонахождение точно я не мог, но

готов был биться об заклад, что мне надо держать курс на запад.

Спустившись с мачты, я взял ведро и сошел на риф — мне хотелось поискать съедобных моллюсков, крабов и креветок. Между лужами было много сухих мест, по ним я мог свободно пройти. Лужи представляли собой волшебные царства кораллов всех форм и расцветок, поражавших нежностью красок. Каждый куст или отросток казался отличным от другого и словно спорил с ним красотой.

Уровень воды понижался, и в некоторых лужах обнажалось дно. Я видел кораллы во многих странах, но никогда не предполагал, что они могут быть так красивы! Трудно было поверить, что это тончайшее плетение, нежное, как дыхание новорожденного, создано ударами волн и нескончаемой работой бурунов.

Я то и дело останавливался и клал в ведро краба. Попадались мне и раковины, то белоснежные, то пестрые, и на каждом шагу трепанги, невзрачные на вид темные существа в форме сосиски, считающиеся деликатесом в Китае. Мне рассказывали, что люггеры, охотящиеся за трепангами и жемчугом, первыми открыли коралловые рифы Северной Австралии.

Я набрел на двух колоссальных моллюсков с панцирем толщиной полдюйма. Они сидели так глубоко в песке и обломках кораллов, что я не мог сдвинуть их с места. Пришлось пойти на плот за лопатой. Они оказались настоящими гигантами, каждый весил фунтов триста, не меньше. Попади между створками панциря, когда они закрываются, нога человека, и она переломится, как спичка.

Вернувшись на плот, я поужинал крабами, моллюсками и креветками, разложил матрац, улегся и под шепот окутанной ночной тьмой рифа и далекое биение моря заснул.

Меня разбудил начавшийся прилив. Он оповестил о себе звенящими ручейками, пробивавшимися в темноте среди лабиринтов волшебного царства кораллов — оленьих рогов, изящных веточек, белоснежных канделябров. Ручейки заявляли о себе все громче и громче, вода беспрестанно прибывала, и постепенно ночь наполнилась шумом. На внешней стороне рифа мощные удары волн начали сотрясать темноту, и вскоре понтоны оказались наполовину в воде. Риф скрылся под водой — волшебное царство вернулось к своим одиноким мечтам и бесшумной работе. Теперь море яростно атаковало плот, стоявший, как волнорез, на пути потока воды. Волна за волной ударялись о него и разбивались о каюту. Вскоре он оказался затопленным. Я стоял на палубе, сколько мог выдержать, а затем взобрался на мачту. Я опасался, что волны, прежде чем сдвинут плот с места, снесут каюту. Почти час я провел на своем насесте. Но вот плот начал покачиваться с борта на борт. Кливер, который я поставил, удерживал его фордевинд. Плот вздрогнул и дернулся вперед. Я спустился на палубу, подошел к штурвалу и пощупал спицы. Руль уже находился в воде. Я зажег фонарь и посветил за борт; цепь, соединявшая рули, также была на плаву. Значит, можно идти вперед. Но вот стоит ли сейчас ставить грот? В конце концов я решил подождать, пока прилив наберет силу и сам подымет плот. Я уже карабкался обратно на мачту, когда плот накренился на одну сторону и двинулся с места. Одним прыжком я оказался у штурвала. Плот плыл! Я напряженно вглядывался в темноту, стараясь рассмотреть поверхность рифа, чтобы избежать оставшихся на ней светлых участков. С милю шел я по чистой воде и уже тешил себя надеждой, что риф остался позади, даже собирался замерить глубину, как вдруг прямо перед собой увидел буруны и снова сел на риф. Но плот сам освободился, прошел немного вперед,

а затем снова сел. На него сразу же обрушились волны. Я взобрался на мачту, но не мог разглядеть ничего, кроме водной толчеи. Мне показалось, что меня окружают коралловые глыбы и остроконечные рифы. Пока я спускался вниз, палуба начала раскачиваться и двигаться, и какое-то время я висел на руках. Внезапно большая волна подняла плот и понесла вперед.

Стало почти светло, я радовался тому, что скоро смогу видеть, что ждет меня впереди. Опустив в воду на леске тиски, я определил глубину: четырнадцать морских саженей. Неужели я уже во Внутреннем канале? Еще несколько замеров показали такую же глубину — между двенадцатью и пятнадцатью саженями. Я решил, что риф позади и можно ставить грот.

Я закрепил штурвал и пошел к гроту, но вдруг чуть ли не у самого своего носа увидел буруны и едва успел повиснуть на мачте, как плот обо что-то ударился. Судя по звуку, я налетел на коралловую глыбу.

Вода уже начала убывать, но я все же решил поднять грот, надеясь, что он поможет плоту освободиться. Плот отреагировал на парус легким сотрясением, как если бы понимал, что я хочу сдвинуть его с места, но коралл, на котором он сидел, крепко держал его. Я немного подождал и спустил грот.

Через час стало совсем светло. По сумрачному небу с юго-востока мчались тучи. После восьми вода упала до низшего уровня. Я закрепил паруса, прибрал палубу и попытался навести порядок в каюте. Там царил хаос. Одежда и рваные паруса — я прикрепил их к переборкам, чтобы защитить от воды инструменты и карты, — промокли насквозь. Я поел и снова взобрался с биноклем на мачту, чтобы внимательно осмотреть риф и все вокруг. Риф был значительно меньше первого, имел удлиненную форму, коралловые глыбы были обращены к открытому морю. На северо-западе до самого горизонта

простиралось чистое море, и я решил направить плот туда. Меня наполнило чувство радости — я был уверен, что, как только вода прибудет и я подниму все паруса, волна снесет меня с рифа. Может быть, на этот раз удача улыбнется мне: я благополучно миную риф и войду во Внутренний канал.

Заснуть я так и не смог и примерно через час поднялся, взял ведро и пошел за моллюсками и креветками. Риф был почти свободен от воды. Он состоял в основном из спрессованных кораллов и многочисленных глыб. Трепангов и моллюсков на нем было сколько угодно, а в одном месте сотни красивых морских звезд лежали чуть ли не одна на другой. На стороне, обращенной к морю, я заметил полосу земли, которая даже во время прилива не покрывалась водой. На ней не было ни малейших признаков растительности. Я сразу отказался от мысли достигнуть ее — для этого надо было переправиться вплавь через заросшую водорослями заводь, а в ней с одной стороны был выход в море, через который могли заплывать акулы.

Серый день тянулся медленно, над обнаженным рифом завывал ветер, жалуясь низким тучам, но вот наконец вода начала прибывать. Чем выше она подымалась, тем ожесточеннее становились атаки волн на края рифа. В конце концов он исчез под водой и на ее поверхности остались только грохочущие буруны, огромные валуны и обращенная к морю полоска твердой земли. Казалось, море обрушило на нее всю свою ярость. Я взобрался на мачту — из-за брызг на палубе было почти невозможно дышать. Приблизительно через час плот начал проявлять признаки жизни. Я спустился вниз и поставил кливер и бизань, а потом и грот. Полный надежды, я ждал, но плот все не трогался с места. Я стоял на носу, где брызг было меньше, и уже подумывал, не взобраться ли мне обратно на мачту, как

вдруг от могучего толчка волн о корму плот сдвинулся, нырнул носом, освободился и поплыл.

Несколько раз он задевал дном за риф, но продолжал идти, подгоняемый довольно сильным ветром и парусами, которые оказывали огромное давление на корпус. Иногда мне казалось почти чудом, что, ударяясь о скрытый под водой риф, плот все же продолжает идти. Наконец он миновал последний как будто барьер бурунов и вышел на более глубокую воду. Кое-где я еще видел под собой оазисы, поросшие водорослями и покрытые ракушками, но потом и их не стало.

Я шел по серому морю на северо-запад, и белые стены рифа за моей спиной становились все меньше. Замеры показали, что глубина подо мной четырнадцать морских саженей, но, не имея карты с обозначением глубин, я никак не мог решить, попал я уже во Внутренний канал или нет. Было уже больше трех часов дня, с юга как будто надвигалась буря. Меня одолевали сомнения: что, если я действительно уже во Внутреннем канале? Идти мне тогда на запад и сегодня же взять курс на материк или же повернуть на север и переждать ночь? Вскоре стемнеет, и, идя на запад, я рискую налететь на один из скалистых островков, разбросанных вдоль Австралийского побережья. Я решил идти на север и только утром повернуть на запад.

Я спустил грот и убрал все на ночь. На ужин я сварил два пакетика овощного супа, добавил в него крабов и креветок, а получившуюся густую смесь сдобрил большой дозой горчицы. Несколько недель назад она, к моему великому огорчению, начала плесневеть.

Когда я кончил есть, наступила ночь. Стоя у штурвала и вглядываясь в темноту, я испытывал легкую грусть и, чтобы приободриться, начал петь. Но и это не помогло. Что впереди? — то и дело спрашивал я себя.

Достигну ли я наконец Австралии? Если мне повезет, я пристану к материку через день-два. Но повезет ли мне? Австралия казалась такой далекой, такой недостижимо далекой, что я почти боялся думать о ней. Произошло столько событий — с того момента, как я отошел от острова Самоа, все мои планы рушились один за другим. Я выстоял, и вот я здесь, у берегов Австралии, но это еще далеко не все. Сейчас я плыву по незнакомым водам в бурную ночь, между рифами с одной стороны и скалистыми островами — с другой.

Я подошел к борту и снова сделал замеры. Все те же пятнадцать саженей... Я вернулся к штурвалу, хотя меня клонило ко сну. Темнота, ветер, волны притупили все мои чувства. Ночь выдалась бурная и темная, за несколько ярдов не было видно ни зги. Ходят ли в этих водах суда? Фонарь был у меня под рукой, чтобы сигналом SOS остановить встречное судно и получить нужные сведения. Я чувствовал себя совершенно разбитым и спустя некоторое время закрепил штурвал, сел на палубу, прижавшись спиной к каюте, чтобы не упасть, и вскоре задремал.

Разбудил меня рев бурунов. Я вскочил на ноги. Передо мной с грохотом вздымалась белая стена прибоя. Я высвободил штурвал, хотя отлично понимал, что это уже совершенно бесполезно. Толчок штурвала чуть не сломал мне руку. Я снова сел на риф... Волны, подобно кузнечному молоту, быстро ударяли одна за другой в мой левый борт. Под напором этой атаки плот накренился на правый борт. Я схватился за веревку, которой было прикручено каноэ, чтобы иметь за что удержаться, если меня снесет или плот разобьет, хотя понимал, конечно, что у меня очень мало шансов остаться в этом случае живым. И откуда только взялся этот риф? Только потом я понял, что ветер и течение отнесли меня обратно к Большому Барьерному рифу.

Больше часа я висел на снастях и глядел, как из темноты возникают буруны и разбиваются о плот, пока они его не повернули и он не освободился. Прибой поднял его, и я снова поплыл. Море стало намного спокойнее, вскоре забрезжил рассвет. День обещал быть опять облачным. Замеры показали, что подо мной семь саженей глубины.

Несколько раз я подымался на мачту, но нигде не видел бурунов и только в одиннадцать часов утра заметил справа, в двух милях от плота, белую линию. Впереди было чистое море, и я продолжал идти прежним курсом. Позднее такая же линия появилась по левому борту, но впереди, как и раньше, простиралась чистая вода. Я решил, что иду между двумя рифами, но примерно через час увидел, что впереди они смыкаются. Поворачивать уже было некуда, пришлось плыть вперед. Я старался держаться ближе к правому рифу, мне казалось, что там волны меньше, и наконец, выбрав наиболее благоприятное место, пошел на риф. Плот ударился о скалу, несколько минут царапался о поверхность, а затем свободно прошел на два-три фута выше ее. Я старался обходить многочисленные валуны и короткие линии бурунов, и мне это удавалось, хотя шверты были подняты.

Так я плыл час за часом всего лишь в нескольких футах над кораллом, все время видя под собой те же изумительные краски и причудливые формы. Время от времени я натыкался на глыбы, но всякий раз мне удавалось освободиться. Бурунов нигде не было, только примерно в миле от меня с обеих сторон виднелись едва заметные белые линии, которые я принял за внешние стороны рифа. Солнце начало садиться. Успею ли я до темноты пройти риф и избежать вторичной атаки волн во время прилива? Мне казалось, что теперь плот уже не выдержит. На рифах сломались три моих шверта,

причем швертовые колодцы вырвало вместе с частью палубной обшивки.

Через два часа я пересек край рифа и вышел на чистую воду. Судя по зыби, я находился во Внутреннем канале. Солнце садилось, небо предвещало еще одну бурную ночь. Дул зюйд-тень-ост. Я решил на этот раз выруливать на запад, чтобы меня снова не снесло на риф.

Мною овладело полное безразличие — энтузиазма, энергии, жизнелюбия как не бывало. Слишком тяжело, видно, пришлось в плавании, а последние дни на рифе доконали меня. Сейчас я был самый обычный моряк, который всматривается в темноту, одолеваемый одним-единственным желанием — благополучно довести свое судно до берега и самому высадиться на сушу. Перемена произошла во мне прошлой ночью, после того как я миновал первые два рифа и вошел во Внутренний канал. Стоя у штурвала, я думал о том, что утром достигну Австралии и мое плавание закончится. Я совершенно отчетливо представлял себе, как все это произойдет: вот австралийцы, спокойные, дружелюбные люди, симпатизирующие мне, всходят на борт и приветствуют меня. Эта картина возникла передо мной с такой яркостью, что стала как бы явью. Правда, временами я переставал ее видеть, но в минуты опасности она снова и снова возникала перед моим взором. Первый раз она появилась, когда, проснувшись, я обнаружил, что плот уже почти среди бурунов последнего рифа. Вот тут-то я и увидел австралийцев. Они только что ступили на борт, чтобы приветствовать меня, и толпились вокруг. Я даже рассердился, что они не поспешили мне на помощь и предоставили одному выкарабкиваться из беды. И потом это видение возвращалось каждый раз, когда мне предстояло сделать что-нибудь из ряда вон выходящее.

Всю ночь я стоял у штурвала, вглядываясь в темноту. Ветер усилился, и я поднял американский флаг "вверх ногами" — может быть, проходящее судно заметит меня, приблизится, и тогда я смогу получить нужные сведения

о Внутреннем канале. Кроме того, я соорудил из парусины большой флаг и поднял его.

Часы шли, мною овладевала усталость, и постепенно я задремал. Время от времени я вставал взглянуть на компас. Сидеть мне становилось все труднее, и в конце концов, чувствуя, что я почти падаю с места, я расстелил матрац и улегся. У меня было одно желание — лежать и не двигаться.

Внезапно впереди показался свет. Я тут же вскочил на ноги. Свет привиделся мне во сне, но я понял это не сразу. Я был уверен, что видел огонь на самом деле, однако спустя некоторое время решил, что ошибся. Мне было очень трудно собраться с мыслями. Ночь была непроглядная, море волновалось, а я все стоял у компаса и буравил глазами темноту в надежде снова увидеть огонь. Через несколько минут, все еще стоя у компаса, я и в самом деле увидел огонь по правому борту. Он мелькнул и исчез. Затем появился снова. Иногда он пропадал на несколько минут, но неизменно возвращался. Может быть, это корабль или рыбацкая лодка, подпрыгивающая на волнах? Ночь была хоть глаз выколи, но огонек светил яркой звездочкой. Я закрепил штурвал, влез на мачту и наконец определил, что это маяк. Он мигал четыре раза, затем делал паузу и через восемь секунд снова мигал. Будь у меня карта, я бы смог определить, где нахожусь, но теперь я знал одно: впереди опасность. Но где — справа или слева?

Четыре вспышки, затем восьмисекундная пауза — теперь сигналы были хорошо видны и с палубы. Повинуясь интуиции, я повернул плот направо, но минут через двадцать лег на прежний курс и продолжал следовать, пока огни не оказались по направлению в два румба правее моего курса.

Приблизившись, я понял, что источник света находится на каком-то выступе, скорее всего на острове во Внутреннем канале — к самому берегу я не мог еще

подойти. Немного погодя я увидел прямо под башней отражение света — то ли на скалах, то ли на листьях деревьев. Близко ли до нее? В такую бурную ночь было крайне трудно составить себе правильное представление. Мне казалось, что меня быстро несет вперед.

И вдруг во время восьмисекундной темноты я увидел остров, черной глыбой раскинувшийся совсем рядом, — мрачный, грозный, казавшийся, пока не загорелся свет, очень близким. Я резко потянул штурвал на себя, ощущая полную свою беспомощность перед не подчиняющимися мне силами. В насыщенной опасностью темноте накапливалось нечто, готовившее гибель и мне, и плоту, я понимал это, но ничего не мог сделать. Вдруг свет погас. Я задержал дыхание, почти парализованный ужасом... Свет больше не загорался... Значит, я вошел в затемненный спектр, являющийся последним предупреждением, что впереди скалы.

Плот ударился о них с такой силой, что судорожно сотрясся и завертелся волчком, то подскакивая, словно одержимый, вверх, то опускаясь в какую-то пропасть. Волны отбросили плот на высокую скалу и начали там бомбардировать его.

Это была борьба не на жизнь, а на смерть между скалами, низвергающимися вниз потоками воды и ураганным ветром.

Я зажег бортовой фонарь и увидел, что плот, содрогаясь, стоит на огромном утесе в уродливых наростах, за ним, по его правому борту, могильными камнями громоздятся высокие зазубренные скалы, а впереди плотной стеной тянутся еще более высокие выступы. Слева я увидел одни буруны.

Я еще не оправился от потрясения, которое испытал, ударившись о скалу и попав в самый центр титанического столкновения стихий, и то, что я видел, как-то не доходило до моего сознания. Металлический

плот не мог распасться на куски так же быстро, как лодка, но его смертельная пляска неизбежно должна была закончиться тем, что он развалится на бугристой поверхности скалы. Молотившие плот волны, то подымавшие, то низвергавшие его вниз, то перекатывавшие с борта на борт, не давали ему сдвинуться с места.

Я висел на руках, ожидая, что плот вот-вот превратится в груды обломков. То и дело мои руки срывались с канатов, так что казалось, сейчас сломаются пальцы или выйдет из сустава рука. Никогда я не чувствовал себя таким беспомощным, таким ничтожным перед разбушевавшейся стихией. Я не замечал хода времени, как бы слившись в единое целое с бьющимися волнами, скалами и бурунами. Я отделился от времени и погрузился в вечность.

Вдруг, словно не в силах больше выдерживать агонию, плот начал крениться на правый борт. Он наклонился почти до предела, его левый борт, обращенный к острым скалам, задрался так, что плот чуть не перевернулся.

В моем положении — я висел, ухватившись руками за веревку, опираясь одной ногой о палубу и выгнувшись как можно больше вперед, — я находился фактически в западне, но что я мог сделать? Перепрыгнуть через ставший почти вертикально борт было невозможно, спастись через корму — тоже: даже если бы я смог это сделать, там меня ждали буруны. Если бы плот перевернулся, мне бы оставалось только прыгать вниз, но как прыгать с высоты двадцать футов? Меня бы неминуемо подмяло под плот и раздавило под его обломками.

Затем плот начал опускаться, сначала постепенно — его удерживал ветер, но под конец сделал такой резкий рывок, что едва не рассыпался. Через несколько минут — так мне, по крайней мере, казалось — он начал

крениться на левый борт, как раз когда я думал, что нахожусь в относительной безопасности.

Объятый страхом, я решил, что это последняя попытка плота избавиться от страшных ударов волн. Теперь я снова висел на канате, упираясь одной ногой в плот, зажатый в такую же ловушку, как раньше, на правом борту. Но плот опять вернулся в первоначальное положение, и палуба выровнялась. Через одну-две минуты я увидел, что вода за бортом уходит назад, и понял: это плот левым бортом соскользнул со скалы и поплыл. Кливер, под напором шквала наполнившийся ветром, заставил плот выровняться, а волны смыли его со скалы.

Я шел в крутой бейдевинд, чтобы уйти от острова (Брук), но вскоре заметил, что плот не слушается штурвала. Посветив фонарем, я выяснил, что порвалась цепь, соединяющая рули. Плот, лишенный управления, могло отнести обратно на скалы. Обвязавшись канатом, я спустился за борт и соединил концы цепи. При этом я проглотил больше воды, чем за все путешествие. В воде я заметил, что нижняя часть рулей скручена, как папиросная бумага. Только титаническая сила могла так исковеркать толстое железо.

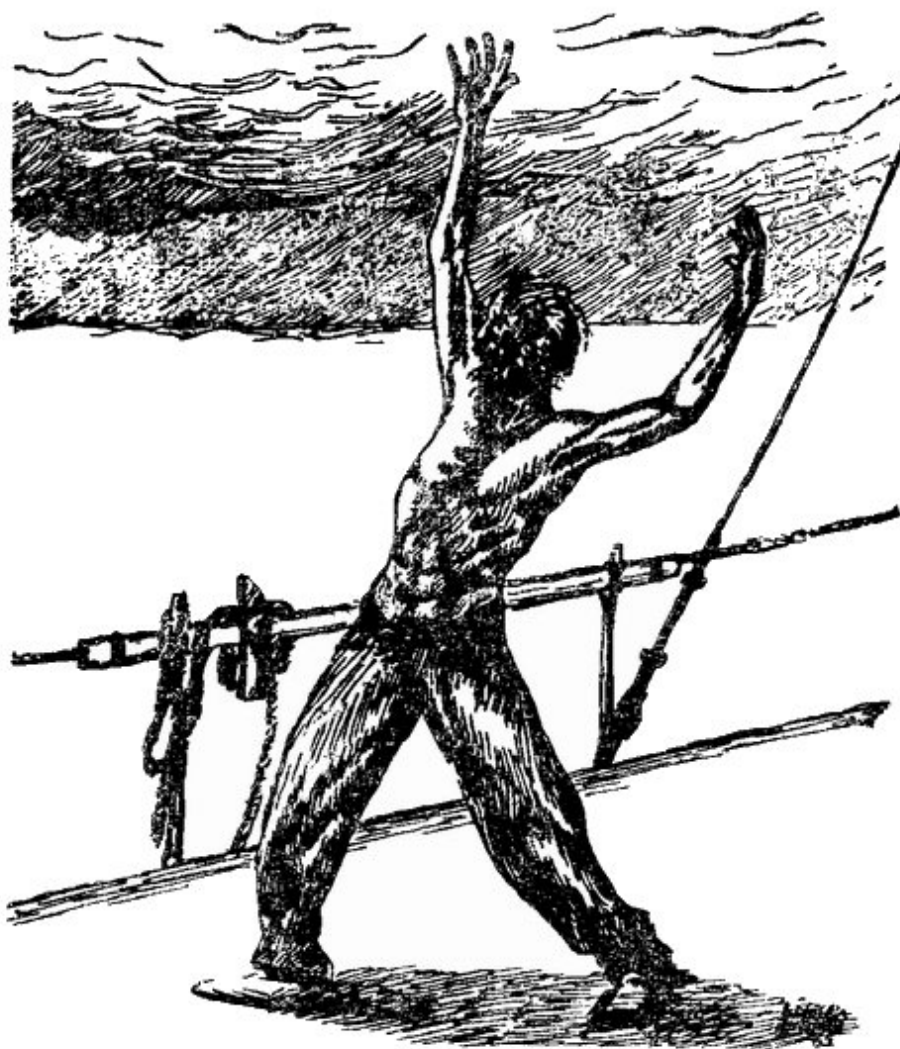
Управлять плотом было кошмарно трудно. Вокруг меня то и дело вырастали скалистые островки, я изо всех сил налегал на штурвал, чтобы не дать плоту снова налететь на скалу. Мною овладело какое-то оупение, я совершенно потерял счет времени, как тогда, когда сидел на скалах.

Наконец вода начала сереть. Неужели рассвет? Мне даже не верилось, что эта страшная длинная ночь может когда-нибудь кончиться. Светящийся циферблат моих часов показывал почти пять. Ночь близилась к концу, но мне казалось, что до рассвета еще должно произойти нечто ужасное.

Лабиринт островков и скал, в который я попал, остался наконец позади, и я увидел остров слева (Гулд) и остров поменьше справа (Комб). Я прошел между ними.

Рассвет уже полностью вступил в свои права. Немного погодя я миновал еще один остров по правому борту и увидел вдали вытянувшийся в длину горный кряж — то ли еще один большой остров (Хинчинбрук), то ли побережье материка. Затем по моему правому борту появились другие острова, ровной линией тянувшиеся параллельно первому на запад. Я побоялся, что они тянутся до самого берега и помешают мне подойти к нему, и стал выруливать левее, чтобы обогнуть их. Впоследствии я узнал, что эту группу островов открыл в 1770 году капитан Кук и назвал их Семейными.

В девять часов утра, всматриваясь в пролив между большим гористым островом слева и цепочкой островков справа, я заметил на горизонте длинную линию. Я решил, что это Австралия, но для пущей верности влез на мачту. Действительно, я двигался напрямик к побережью Австралии. Шел дождь, видимость была плохая, но мне удалось рассмотреть, что низкий берег покрыт лесом.



Вот она, наконец, Австралия! (Рисунок автора)

Я медленно приближался, вырубивая к небольшому заливу. Несколько раз я взбирался наверх посмотреть, нет ли впереди скал или рифов, но видел только песчаный берег и ровную полосу сравнительно невысокого прибоя. Домов и других признаков человека не было видно. Сквозь сетку морозящего дождя безлюдный берег казался бесцветным. Теперь я уже различал деревья и даже смог рассмотреть, что это эвкалипты. Длинные белесые стволы придавали им

потрепанный вид, а сучья напоминали высохшие кости. Некоторые были вырваны с корнем и лежали на берегу.

Я сделал замеры — глубина во всех направлениях составляла две сажени. Я подошел совсем близко. Оставалось всего лишь несколько минут...



Еще минута — и я ступлю на сушу! (Рисунок автора)

После кошмарного плавания из Апия, после ужасной последней ночи, которая все еще сковывала меня, после долгих-долгих часов напряженного труда мне просто не верилось, что я достиг своей цели... Вот он наконец, этот безмолвный низкий берег. Австралия... Я зажег два красных сигнала на тот случай, если на берегу кто-нибудь есть, а после одиннадцати поставил плот против ветра в дрейф и бросил якорь. Я травил канат, пока он не коснулся дна, затем закрепил его, спустил паруса и

убрал палубу. В небольшой парусиновый мешок я сложил бумаги, разрешение на выход из Апия, паспорт и другие документы, удостоверяющие мою личность, несколько сигнальных ракет, нож и небольшой топор, спички, компас на случай, если мне придется идти через лес, и прыгнул в прибой. Вода доходила мне до груди, и я с трудом преодолевал откатывающуюся волну. Наконец я ступил на сушу! После двухсот четырех дней плавания, пройдя одиннадцать тысяч миль, я достиг Австралии! В этот миг вся она казалась мне небольшим пятном, на котором я стоял. Мне хотелось опуститься на колени и поцеловать мокрый песок. Было это 9 сентября 1964 года. Я находился на $18^{\circ}02'5''$ южной широты, $146^{\circ}01'5''$ восточной долготы.

Я повернул налево, к заливу, к которому выруливал, и пошел по узкому берегу, надеясь встретить людей. Иногда я оглядывался на плот: он качался в полосе прилива, на нем развевался флаг бедствия. По-прежнему шел дождь.

Пройдя примерно милю, я вышел к заливу, утонувшему в густых зарослях мангровых. Вдалеке в него впадала река (Муррей). Смогу ли я обойти ее? Не очень на это надеюсь, я все же углубился в лес, но вскоре увидел, что река устремляется вглубь, и решил вернуться к морю.

Поравнявшись с плотом, я взобрался на его борт, проверил якорную цепь и снова вышел на берег. К северу от него росли такие же леса, только деревья были немного выше. Эвкалипты с их причудливо изогнутыми гладкими стволами, с которых печально свисали лохмотья красной или серебристой коры, показались мне красивыми и странными пришельцами из чужого мира. Я вошел в лес, думая, что найду там какую-нибудь дорогу или тропинку, но повсюду наткнулся на болота и густые, почти непроходимые заросли виноградника. Раз мне почудилось, что я слышу

свист или голос человека, но, ответив, понял, что это была птица.

Примерно через милю я увидел бычка, пасшегося в кустах. Он меня сначала не заметил, но, когда я уже прошел, его ноздрей достиг мой запах, он вскинул голову, бросил на меня быстрый взгляд и умчался. Немного позже я увидел маленькую кенгуру. Она, подобно статуэтке, неподвижно стояла на полянке и наблюдала за мной. При моем приближении она ускочила в чащу леса.

Теперь я уже находился недалеко от того места, куда шел. Это была небольшая песчаная коса. Поднимаясь на невысокую дюну перед ней, я увидел несколько крыш. "Вот сейчас я увижу людей", — подумал я, но на вершине дюны обнаружил, что от домов меня отделяет небольшой заливчик. Его окружали густые заросли мангровых. Людей на другом берегу не было, солнце уже стояло низко, а переправиться мне было не на чем, и я решил обойти залив и вошел в лес, собственно, не в лес, а подлесок, перемежавшийся песчаными полянками. Среди кустов я заметил следы, по-видимому, крупных собак и острые отметины от копыт диких свиней. Пройдя примерно с четверть мили, я пробрался сквозь мангровые к заливчику и тут убедился, что продолжать путь бесполезно: дорогу преграждала река (Талли-Ривер). Тогда я вернулся на то место, откуда увидел дома, и решил переплыть заливчик — до захода солнца оставалось не больше часа, а я хотел добраться до людей, чтобы Тэдди как можно скорее узнала о моем прибытии.

Я уже собирался раздеться, как вдруг увидел, что по другому берегу спиной ко мне идут мужчина и женщина. Я закричал, но они продолжали идти как ни в чем не бывало. Тогда я вытащил из мешка ракету — сигнал бедствия — и запустил ее.

Люди остановились и заметили меня. Я крикнул, что мне нужна лодка для переправы на другой берег. "Сейчас приду", — ответил мужчина, и оба они быстро исчезли за купой деревьев.

Вскоре тишину нарушил шум мотора — ко мне спешила через заливчик лодка с мужчиной и женщиной. Они, надо сказать, удивились, увидев перед собой загорелого исхудавшего старика с бородой до самой груди, в закатанных до колен джинсах. "Уиллис из Нью-Йорка", — представился я, протягивая руку. Мужчина назвался Хэнком Пеннингом. Он и его жена жили поблизости в городе Талли. Они перевезли меня через залив. Потом мы еще час ехали в их автомобиле до отделения полиции, где проверили мой паспорт и прочие бумаги. Здесь никто обо мне не слышал. После того как все формальности были выполнены и я убрал свои бумаги, вошел еще какой-то человек. Он весьма подозрительно осмотрел меня и попросил разрешения взглянуть на документы. Он очень внимательно изучил их, делая какие-то записи, затем вышел на веранду и оттуда продолжал наблюдать за мной.

Вскоре кто-то вошел с веранды в дом и сказал, что человек не поверил ни одному моему слову. Он уверен, что я бежал с острова Норфолк.

— Остров Норфолк! — произнес я. — Если не ошибаюсь, когда-то там была каторжная исправительная колония.

— Да, — ухмыльнулся мой собеседник. — Ее прикрыли около 1840 года.

— Боже правый! — воскликнул я. — Больше ста лет назад! Неужели я выгляжу таким старцем? Мне, конечно, здорово досталось, но я не думал, что это так заметно. Итак, я могу считать себя самым старым долгожителем Австралии.

Мы оба засмеялись, но я подумал, что интересно бы посмотретья в зеркало.

Через несколько минут зазвонил телефон. Это был Сидней. Кто-то уведомил телеграф, и он вызывал меня. Теперь я был уверен, что через несколько секунд Тэдди узнает, где я.

Австралия широко раскрыла свои объятия. Из каждого городского дома, из каждой хижины в буше мне слали приветствия. Эта страна любила море и людей, которые его не боялись. Тэдди прилетела ко мне, и мы наслаждались прогулками и поездками по лесам и холмам, впитывая в себя красочные пейзажи незнакомого мира. И уж конечно, я не забыл сдать мешок со специальной почтой, который привез из Апия.

Благодаря содействию министра финансов Гарри Хольта правительство Австралии переправило плот на борту "Бунару" из отдаленного залива Квинсленд, где я пристал, в Сидней. Отправкой плота на борту "Пайонир Джем" обратно в Нью-Йорк я обязан Джозефу Курану, президенту Национального морского союза Америки, и фирме "Юнайтед стейтс лайнс". Я хочу также поблагодарить фирмы "Юнайтед стейтс лайнс" и "Фэррел лайнс", доставившие плот в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, — там он будет экспонирован в Морском музее.

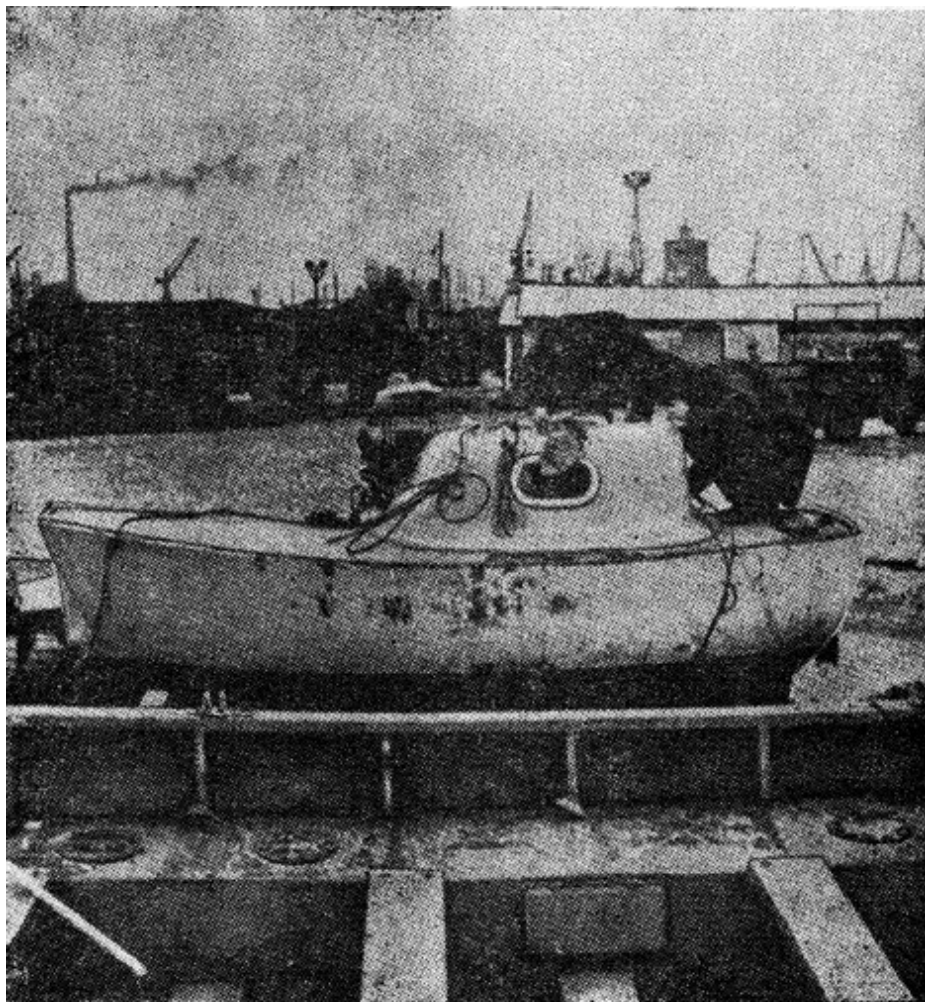
Заключение

Почему я предпринял это путешествие? Поройтесь-ка у себя в душе, и вы обнаружите, что тоже мечтали о таком плавании, даже если ни вы, ни ваши ближайшие предки никогда не выходили в море. Когда-то, может быть много веков назад, у ваших праотцев была такая мечта, вы унаследовали ее, и она у вас в крови — будь вам двенадцать, семьдесят или сто лет, ибо мечты не умирают.

ПАТРИАРХ ОКЕАНА

Послесловие канд. геогр. наук В.И. Войтова из издания 1969 г.

"20 сентября наше судно, направляясь к банке Джорджес, обнаружило полузатопленную одноместную яхту со сломанной мачтой, — сообщили 26 сентября 1968 года с борта советского рыболовного судна СРТ-4486. — Людей на паруснике не оказалось. Завели стропы под суденышко, приподняли его, откачали воду и приняли на палубу. На яхте найдены американский паспорт на имя Уильяма Уиллиса, родившегося в 1893 году, документы, подтверждающие его одиночное плавание через Атлантику в английский порт Плимут, письмо президента Нью-Йоркского клуба путешественников, неотправленную корреспонденцию..."



Яхта «Малышка» в рыбном порту Калининграда. (Фото В. Макеенко.)

В дальнейшем израненное в борьбе с океанской стихией суденышко передали на рефрижератор "Янтарный", направлявшийся в Калининград...

Анализ судовых документов показал, что "Малышка" (так называется яхта Уильяма Уиллиса) отправилась в плавание 6 мая, а гибель капитана яхты произошла 20 или 21 июля 1968 года. Во всяком случае последняя закладка в Морском астрономическом ежегоднике и последняя запись в вахтенном журнале были сделаны 20 июля.

При каких обстоятельствах произошла гибель Уильяма Уиллиса — остается загадкой.



Вещи Уиллиса, найденные на «Малышке». (Фото В. Макесико.)

Капитан "Янтарного" Ю.С. Маточкин предполагает, что мореплавателя смыла за борт штормовая волна, когда он пытался взамен разнесенного в щепки руля поставить новый. Самым подходящим для этой операции инструментом является топор, а его-то и не оказалось среди предметов, найденных на "Малышке"

Так трагически оборвался жизненный путь Уильяма Уиллиса, вписавшего не одну славную страницу в Историю одиночных трансокеанских плаваний. Он совершил два плавания на плотках в Тихом океане, которые вряд ли будут повторены.

После окончания первого плавания председатель Нью-Йоркского клуба путешественников вручил Уиллису диплом: "Почетное пожизненное членство присуждено Уильяму Уиллису в признание его замечательного путешествия на плоту "Семь сестричек" на протяжении

6700 миль, от суровых берегов Перу до обожженных солнцем песков Самоа. Один против стихии моря. Мы славим этот дрейф — величайшее путешествие, совершенное одним человеком..."

Было это в 1954 году, и Уиллису шел шестьдесят второй год. Он совершил подвиг, которого хватило бы, пожалуй на две жизни. Но только не ему. Он мечтает о новом, еще более грандиозном рейсе на плоту, намереваясь переплыть Тихий океан в тропических широтах от Южной Америки до Австралийского континента.

И через 9 лет он снова в океане на борту плота под вызывающим названием "Возраст не помеха". Как раз об этом плавании и написана Уиллисом книга, которую вы только что прочитали. Плавание подразделялось на два этапа. Первый этап начался 5 июля 1963 года, с момента старта плота из перуанского порта Кальяо. Новый 1964 год Уиллис предполагал встретить в Австралии. Но этому не суждено было сбыться из-за того, что плот потерял управление и с огромным трудом мореплавателю удалось подойти к островам Самоа. "Я не прекращаю плавание, а лишь откладываю его", — заявил Уиллис сойдя на берег.

Возобновить плавание удалось лишь 26 июня 1964 года. Необходимо отметить, что второй этап трансокеанского рейса проходил в более сложной навигационной обстановке. Значительную часть маршрута от Перу до Самоа отважному мореходу надежными союзниками были юго-восточный пассат и мощное Южное пассатное течение. В западной же части Тихого океана Южное пассатное течение разбивается на отдельные ветви, образуя замкнутые круговороты, а пассат заметно слабеет. Кроме того, в этой части океана щедро разбросаны пригоршни "островной пыли" — мелких коралловых островков, многие из которых не всегда точно нанесены на карту. Не меньшую опасность

представляют более крупные вулканические острова, обнесенные частокоралловыми рифами. Такие рифы в свое время сдержали порыв известного одиночного мореплавателя Джона Колдуэлла, державшего путь из центральной Америки к берегам Австралии. Его яхта "Язычник" разбилась на рифах восточнее Фиджи.

Легко себе представить, какой опасности подвергается дрейфующий плот в этом океаническом пространстве во время свирепствующих здесь тропических ураганов.

Но патриарх океана, несмотря на все трудности плавания, благополучно финиширует на австралийском берегу близ городка Таунсвилла. Первым увидел Уиллиса на австралийской земле школьный учитель Хэнк Пеннинг. Вот что рассказал он в одной из местных газет:

"6 ноября, гуляя с женой у устья реки Талли, я увидел на противоположном берегу незнакомого человека. Он шел, как-то странно пошатываясь. Подойдя к воде, человек осмотрелся, словно прикидывая, как преодолеть преграду. Я быстро отвязал лодку и вскоре подплыл к нему. Незнакомец — высокий старик с усталым обветренным лицом, с густой пепельной бородой — протянул мне руку: "Я — Уиллис из Нью-Йорка". Точно так же сказал в свое время Стенли, когда нашел Ливингстона. И добавил: — "Я только что приплыл с Самоа".

Грандиознейшее плавание завершено. Пройдено около 11.000 миль. Об Уиллисе пишут во всех газетах мира. Плот "Возраст не помеха" экспонируется близ статуи Свободы в Нью-Йорке. На вопрос корреспондентов, что он собирается предпринять теперь, он неизменно отвечал: "Я поплыву снова. Но на этот раз это будет Атлантика".

Для преодоления Атлантического океана Уильям Уиллис выбирает крошечную яхту длиной 3 метра 36 сантиметров. Дважды — в 1966 и 1967 годах — он

пытается совершить плавание через Атлантику, но обе попытки неудачны. По причине неисправности судна или нездоровья он каждый раз возвращается к берегам Северной Америки. И, наконец, третья попытка в 1968 году — та, которая в конце концов закончилась катастрофой.

Какие же цели ставил перед собой отважный мореход, отправляясь в столь рискованные плавания?

Он не ставил перед собой научных задач, как пионер тихоокеанских одиссей норвежский исследователь Тур Хейердал, отправившийся в океан, чтобы доказать свою гипотезу. Его влекла неистребимая романтика морских приключений, стремление узнать, а что же там, за горизонтом? И, наконец, жажда испытать себя в настоящем деле.

"Я отдаю себя на волю стихий, которые мне милы, — писал Уильям Уиллис, — я испытываю себя ужасным одиночеством и... непрерывной смертельной опасностью..." И далее: "Только когда человек один, когда он может рассчитывать лишь на себя и ему неоткуда ждать помощи, каждая частица его тела, мозга и души подвергается испытанию. Взять с собой одного или нескольких человек — значило бы превратить путешествие в самое обычное и даже скучное предприятие..."

Вместе с тем для Уиллиса важна и практическая ценность плаваний... "Для чего я построил плот и плыву все дальше в глубь Тихого океана, в тех его просторах, где редко проходят корабли? Это не прихоть и не простое приключение... Пусть мое путешествие будет испытанием духа и поможет тем, кто терпит кораблекрушение в открытом море".

Таково кредо Уильяма Уиллиса — одного из самых выдающихся мореплавателей-одиночек.

Советский читатель встречается уже со второй книгой Уиллиса. Первая книга, "На плоту через океан",

была издана Детгизом в 1959 году. Есть у Уиллиса еще и сборник стихов "Ад, град и ураганы". На яхте "Малышка" был найден план его новой книги "Самый старый человек на самой маленькой лодке". Так ко многим профессиям, которыми владел Уиллис, на склоне его лет добавилась еще профессия литератора. В самом деле, за долгие годы своей нелегкой трудовой жизни ему пришлось плавать матросом на парусных судах и танкерах, рубить деревья в канадских лесах и ловить рыбу на Аляске, работать в качестве горного инженера в Южной Америке и дорожного мастера — в Северной.

В своих книгах Уиллис с подкупающей прямоотой и честностью рассказывает о своих страхах и сомнениях, делится радостью больших и малых открытий, душевными переживаниями.

Поэтому с первых же страниц его книг возникает незримый контакт с читателем, свойственный не только хорошим приключенческим книгам, но и вообще хорошим художественным произведениям.

В. И. Войтов

notes

Примечания

[1]

Просто неудачный перевод, надо не "погреб", а "подвалы" (два значения для англ. "cellar"). Люди не могли "ютиться" в погребах. (Прим. выполнившего OCR.)

[2]

Строго говоря, рангоутное дерево, называемое автором утлегарем, следовало бы называть бушпритом.

[3]

Вероятно, полиуретан (англ. polyurethane). В СССР 1960-х гг. (время перевода книги) он еще не был достаточно известен. (Прим. выполнившего OCR.)

[4]

Имеются в виду градусы Фаренгейта. (Прим. перев.)

[5]

Один бушель (США) равен 35,2 л. (Прим. выполнившего OCR.)

[6]

Перевод стихотворений здесь и дальше Е.С. Минкиной.

[7]

Видимо, автор ошибается. Находясь на 2°32' южной широты, он не мог видеть Полярную Звезду.

[8]

Английское "bushman" имеет два перевода: 1). "бушмены" - коренной южноафриканский народ,

который относят к так называемой капоидной расе. Антропологически отличаются от негроидов, поскольку имеют более светлую кожу.

2). "бушмен" - дословно - человек из чащи (из кустов). Разговорное - лесной человек, житель лесной местности, деревенщина.

Поскольку в книге идёт речь о Южной Америке (Гвиана), то, очевидно, следует принять второй вариант перевода. (Прим. выполнившего OCR.)

[9]

Порядка 38°C. (Прим. выполнившего OCR.)

Пояснения к морским терминам.

[*]

Лихтер — грузовое судно, как правило, имеющее собственные погрузочно-разгрузочные средства.

[*]

Выбленки — веревочные ступеньки, служащие для подъема команды на ванты.

Второе значение для термина "Выбленка" — один из наиболее простых и применяемых морских узлов. (Прим. выполнившего OCR.)

[*]

Гордень — снасть, применяемая для подъема груза.

[*]

Сезни — снасти, при помощи которых убранные паруса закрепляются на реях.

[*]

Бейдевинд — курс судна относительно ветра. Курс судна различается по углу между курсом судна и направлением ветра. От 0° до такого положения, когда паруса могут работать ($40-60^\circ$), — *встречный ветер*, при угле 90° — *галфвинд*, 180° — *фордевинд*. Промежуточные курсы между встречным ветром и галфвиндом — бейдевинд, между галфвиндом и бейдевиндом — *бакштаг*. Судно, на которое ветер дует с правой стороны, идет *правым галсом*, с левой — *левым галсом*. Для смены галса выполняется маневр, называемый *поворотом*: при пересечении линии ветра носом — *оверштаг*, кормой — *через фордевинд*.

[*]

Тримаран — судно, плавучесть которого обеспечивают три жестко скрепленных отдельных корпуса.

[*]

Шверты — подъемные кили, увеличивающие боковое сопротивление судна сносу ветром. Шверты проходят сквозь днище через *швертовые колодцы*, подымающиеся выше уровня воды.

[*]

Девияция — ошибка в показаниях компаса за счет магнитных свойств самого судна.

[*]

Взять рифы — уменьшить площадь паруса путем закатывания его части и закрепления ее особыми снастями — риф-штертами.

[*]

Баллер — вертикальная ось, при помощи которой поворачивается перо руля.

[*]

Ликтрос — трос, которым для увеличения прочности парус обшит по всем сторонам — шкаторинам.

[*]

Марлинь — тонкий двухрядный трос.

[*]

Стоячий такелаж — совокупность тросов, удерживающих мачты в вертикальном положении.

[*]

Аутригер — жесткая конструкция, выступающая за борт. Здесь — бревно, которое жестко закреплено на некотором расстоянии от борта каноэ в виде балансира для увеличения ее остойчивости.

[*]

Бегучий такелаж — совокупность снастей, употребляемых для управления парусами.

Консультант по морским вопросам
капитан дальнего плавания

А.А. Чечулин